



Дожина Бема
1



Salamandra P.V.V.

**Борис
БЕТА**

МУЗА СТРАНСТВИЙ

Избранное
Том I

Составитель
Александр СТЕПАНОВ

Salamandra P.V.V.

Бета Б. (Буткевич Б. В.)

Муза странствий (Избранное. Т. I). Сост. А. Степанов. Подг. текста и комм. А. Степанова и М. Фоменко. Биогр. очерк М. Фоменко. Изд. 2-е, испр. и доп. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2020. — 204 с., илл.

Борис Бета (Буткевич, 1895-1931) — один из самых ярких авторов Дальнего Востока и «китайской» ветви эмиграции. Гусар, участник Первой Мировой и Гражданской войн, богемный литератор, бродяга и скиталец, Б. Бета объездил многие страны как пароходный кочегар, работал портовым грузчиком и пастухом во Франции и окончил свои дни в нищете на койке марсельской больницы. Хотя литературные труды Беты ценили и отмечали И. Бунин, В. Ходасевич, Н. Берберова и многие другие, он при жизни так и не удостоился своей книги, а его рассказы и стихотворения долгие десятилетия оставались разбросаны по страницам дальневосточных, китайских и европейских газет и журналов.

Впервые выпущенное нами в 2018 г. двухтомное собрание сочинений Б. Беты дополнено в настоящем издании восемью рассказами и рядом стихотворений и малых поэм, в том числе первыми публикациями по рукописям. Издание также включает подборку мемуарных очерков, посвященные Б. Бете стихотворения и биографические материалы.

МУЗА СТРАНСТВИЙ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Весной 2018 г. издательством Salamandra P.V.V. было впервые опубликовано двухтомное собрание сочинений Бориса Беты (Буткевича, 1895-1931), одного из самых ярких авторов Дальнего Востока и «китайской» ветви русской эмиграции. Таким образом, после многих десятилетий фактического забвения произведения Бориса Беты стали доступны для читателей.

На протяжении последних двух лет работа по выявлению творческого наследия Б. Беты продолжалась, и сейчас мы можем с радостью представить читателям ее результат — исправленное и дополненное издание собрания сочинений этого своеобразного писателя и поэта-бродяги.

В газетах и журналах Владивостока, Белграда и Парижа удалось обнаружить ряд ранее не переиздававшихся рассказов — «Родной дым», «Весенняя карусель», «Туман с моря», «Записанное на газете», «Последняя встреча», «Сципион Варма» и «Глаза маркизы». Также было найдено считавшееся утраченным окончание рассказа «Женщина за окном».

Благодаря печатным и архивным материалам мы смогли существенно расширить поэтический раздел собрания. Для второго издания были дополнены комментарии и биографический очерк и заново просмотрены все включенные в собрание произведения.

ленное стекло рюмки.

Ну, тогда— «всадники-друзи в поход
айтесь»,—якобы пропѣл Трауте,—во
ик, послѣ завтра, слѣдует выѣзжать.
ѣдем,—кивнул Алексѣй и стал смо-
на куски индѣйки на блюдѣ, кото-
олько что поставила на стол Дуняша,
кая на сестру милосердія.

слѣ ужина в залѣ, гдѣ было темно, у
при голубоватом потемковом сіяньи,
спросила:

Вы дѣйствительно хотите ѣхать на
т?

Ну-да, — отвѣтил Алексѣй, глядя на
ерцающее лицо.

Но вѣдь ваш отпуск еще не кончил-
спросила она, хлеснув что-то жгутом
ка.

Нѣтъ еще...

Господи, какая ретивость!—прощеп-
она, свивая, растягивая платок, — я
сталась...

Вот как...—замедлил он, ибо в ком-
точно укутанной тѣнями, в слабом
лескѣ багетов, как на туманном по-
ѣ кино, забрезжил образ Софьи...

ѣзд отсрочился. Два вечера в бѣлом
на Архіерейской играли в карты,
исывали, слабо пыля, пристукивая по
ему, зеленому сукну мелкими; Лиля,
озабоченная, играла озлобленно Ли-
одна в парадно освѣщенном залѣ.
сѣй пьянѣй каждый вечер, благоду-
вовал,—и во вторник, встав послѣ ро-
в четверг одиннадцатаго, начал от-
иваться, цѣловать ручки и пошел че-
комнаты в переднюю: там он раз-
звѣ

ствуя воспоминан-
ло; еще запом-
парчевая, с ку-

Прошло пол-
няго десятого
теплушку, уѣз-
фронту, прово-
же криками «у-
фонарях. В ба-
Акшѣ он пере-
вещи на брон-
все-таки жутко
торая еще так
зловѣщей сво-
будто пасмурн-
дуном, развор-
полями, прел-
телеграфные с-
ванные, в инь-
тые по снѣгу
тыя могилы,
земом по снѣ-
шей раскрыто
—с выбитыми
тяжким стрем-
ными настѣж-
чью платформ
на свѣт высок-
по, безмолвны-
ціи—на расчи-
но свободные
ти,—и задержа-
зала в снѣжн-

В этом горо-
боды, уже ус-
может она и

ДВА ВЫСТРЕЛА

ДВА ВЫСТРЕБА

В апреле восемнадцатого года я приехал в тот старознакомый город, где кончилось мое детство. Политику следует понимать, чувства она обманывает, — а в те времена я хотел только чувствовать. Споры по пути в вагонах забавляли меня, заинтересовывали в той степени, поскольку увлекала меня декламация спорящих; помню, словно опустошенный, неприбранный зал буфета, столы без скатертей, шелуху под ногами, говор, движение узловой станции, — и споры, ожесточенные распри о том, следует ли сделать любую девушку собственностью любого из нас? Ко мне тоже обращались, хотя я не спорил, не присоединялся ни к одной из сторон: за длинным неприбранным столом я оказался на положении некоего *tertius'a gaudens'a*, хотя эти разговоры о русской девушке были для меня разговорами о близкой родственнице; меня почему-то сочли чужим — именно американцем — и зывали ко мне, как к третьей стороне. И я, изредка улыбаясь им, сохранял спокойствие чужого, оглядывался по залу, отыскивая еще «иностранцев», повторял про себя слова старого Мишеля Монтеня: «Постамент, это еще не статуя...»

В городе я поселился у сестры и стал вести дружбу с племянником Жоржиком. Окна второго этажа нашего дома выходили на площадь — на базар, где с раннего утра волновалось, пестрело движение и происходили всякие разности. Мы с Жоржем, положив на подоконник две диванных подушки, лежа, подпираясь локтями, начинали каждое утро с кормежки базарных собак: бросали им в окно хлеб на дорогу.

Жоржику было семь лет, я был старше более чем в три раза; у него были синеватые белки черноглазого и чуткого, он был своенравен, иногда дерзок, но, наблюдая исподтишка его сосредоточенность, — над едой собак, — наклоняясь к голове его, слыша то теплое благоухание, что волновало меня у птиц, — я прощал все эти порывы грубиянства.

— Посмотри, пожалуйста!.. — первый же начинал он после молчания размолвки, уже увлекшись созерцанием собак. — Посмотри, пожалуйста, какая смешная вон та собака!.. Брось же, ну, брось ей кусочек...

С некоторого времени, когда эти полдневные из окна наблюдения базарной жизни стали мне надоедать, я начал задумываться, загадывать какие-то поездки в уезд, — в одно утро наблюдения мои изменились: я увидел совершенно случайно, — на другой день внимательнее и затем — в ожидании, — как около девяти под нашим окном проходит барышня с желтым портфелем. Мне было порядочно скучно в эти дни: устройство с Жоржиком троечных запряжек — лошадь, коро-

ва и плюшевый медведь, — разговоры с сестрой о наших домашних, разъехавшихся в разные концы, хождение с зятем раза три в неделю на заседания исполкома — вот как проходили мои дни; иногда случалась стрельба на базаре и гул, смятение, невольное бегство, сокрушение ларьков; иногда раздавалась вечерняя стрельба в улицах и предостерегающие свистки; послушав, мы ложились спать.

И вот — эта барышня с портфелем. Я, ложась на подоконник, уминаясь на подушке, уже желал ее появления, переставая бросать собакам; сверху, искоса, осматривал ее; в утро облачное, обещающее дождь, она приходила в темно-синем костюме — в тесном пиджаке, в галстукке, в манжетах над лайкой перчаток; из-под короткой юбки ноги, в обтяжных коричневых гетрах, выступали свободно, уверенно, как у балерины; она была в черной фетровой шляпе с маленькими полями; желтый портфель несла она за ручку в левой руке; резкие брови, смуглость загара, полные губы над белизной воротника, — вот что я успевал опять заметить и провожал взглядом; видел подобранные под шляпу гладкие на затылке волосы, движение юбки, редкую походку высокого роста, манеру нести портфель... Изысканность ее, нездешняя тут, перед базаром, привлекла меня все сильнее! А при солнце, в свой обычный еще не жаркий час, она проходила в белом и без шляпы; она ее, свернутую, — очевидно, пикейную панаму, — несла обычно в руке; теперь я открыто любовался темным смуглым загаром, бровями, кудряво-вздыбившейся надо лбом челкой, матовым черным большим бантом на темени, гладкими подобранными на затылке волосами; ее сильные ноги, обтянутые белыми чулками, так же уверенно волновали меня; щурясь, она открывала и зубы, точно улыбалась полными своими губами.

Это была уже влюбленность. Однажды я рассчитал время и, выйдя, столкнулся с ней на подъезде; проходя, улыбаясь от солнца, она взглянула, как глядела, наверное, на все по своей дороге — и я различил красновато-коричневый цвет ее глаз.

— Кто это такая? — спросил я вслух, когда однажды сестра слушалась у соседнего окна во время этого сладостного для меня явления.

— Не знаю, наверное, эта у военнопленных служит, в их миссии, — ответила сестра. — Наверное, немка или датчанка.

* * *

Как-то под вечер мальчик принес мне записку от старого моего приятеля Федора Лукича Смольникова, уездного купца: он приехал, узнал, что я «наконец в наших “палестинах”» и звал меня обязательно прийти к нему в номер этим же вечером — «побалакать, чайку вы-



пить»; к чайку полагалась обычно у Федора Лукича водочка. Я решил, и сказал мальчику, тоже Федору, что сейчас приду. Я действительно пошел.

Номер Федор Лукича сразу же показался мне уютным, прежних покойных времен; я сел к столу, а Федор Лукич, стоя, стал заваривать чай в чайнике.

— Ну, а насчет того-сего, Федор Лукич, как у вас дела? — спросил я, оглядываясь, чувствуя крепнущую бодрость в этом номере.

— А есть, — ответил он, ставя чайник на конфорку самовара. — С великими, так сказать, трудами, но раздобыл, дорогой гость! Иначе я бы и звать вас посовестился.

— Ну вот, новое дело, — протянул я ему папиросы, — что я к вам, ради водки пришел?

— Ну, ну, — сказал он, изображая суровость и опять разглаживаясь. — Вот за папироску — спасибо! Я уж чего-чего не курил — нет табаку, да и баста!.. Где промышляете табачком-то? — спросил он, закуривая.

— Да случай. Вот Колесников уделил полфунта, по карточкам выдавали.

— Ну, а как дела делишки у вас, что поделываете? — спросил он, доставая из-за занавески бутылку разведенного спирта и ставя ее к щучьей икре с луком и холодным, из дома, пирожкам.

Против обыкновения Федор Лукич быстро захмелел, все выпытывал у меня политические новости и когда я, отнекиваясь, пожимал плечами, он настойчиво грозил мне пальцем. Бутылка была почти пуста, разговор шел по-прежнему политический и уже громкий, когда в номер к нам постучали.

— Ога, — сказал Федор Лукич, поднимаясь, идя отворять дверь. — Кого Бог хочет?

Дверь оттолкнула его, мимо него вошли двое солдат, оставленные двое смотрели в дверь.

— Ага, вино, — сказал один из вошедших быстро и многозначительно. — Кто здесь хозяин? Вы? — посмотрел он на меня, и взгляд этот уже подтвердил мне, что его, высокого, узкоплечего, быстрого в движениях и взгляде, смело сдвинувшего фуражку на затылок, — я знаю.

— Нет, не я, дорогой Костя, — ответил я.

Он еще раз, пристальней, взглянул на меня.

— О, кого я вижу! — шагнул он ко мне и принял мою руку, по-татарски, в две свои. — Вот судьба!.. Вы как здесь? Живете, давно?

— Нет, здесь не живу, — ответил я, чувствуя, что положение наше улучшается. — Пришел в гости, а в городе уже скоро месяц.

Он, выслушивая меня, взял стул и сел на него верхом, облокотясь на спинку; тяжелый кольт в кобуре оттягивал слева ему пояс.

— Ну-с ладно; так что же вы, проведать-то? Я ведь могу рассер-

диться, ей-Богу, — поправил он фуражку, все время серьезный, без улыбки, только после этих слов вынувший изо рта окурок, бросив его на поднос.

— Да я же ничего не знал! — ответил я, рассматривая его загорелое, озабоченное, постаревшее лицо. — Да и где вас искать?

— Ну, тоже задача! — почесал он в затылке, отведя взгляд от отражения в самоваре. — Да идите в отряд охраны народного достояния, спросите Шулепова, дом всякий укажет... Ну, ладно! А кто здесь хозяин — он? — кивнул Костя на Федора Лукича, все еще выстаивающего у дверей, теперь без краски на лице.

— Да, мой приятель, — ответил я и улыбнулся глазами ошалевшему взгляду Федора Лукича.

— Вы что же, гражданин, разве не знаете, что вино пить запрещено? Вы знаете, какой ответственности подвергаете себя?! — возвысил строго голос Костя.

Федор Лукич шагнул, как проситель.

— Да я, товарищ, вот со знакомым, — ответил он негромко. — Извините, если не так, сами знаете, старый человек... Именины мы справляли, — кончил он.

— Будут вам эти именины! — отклонился Костя, залезая в карман, доставая раздутый, желтой кожи, портсигар и, сняв крышечку, протянул мне:

— Закуривайте.

Потом вытряс и положил на стол около десятка.

— Ну ладно, дальше... — он закурил, затянулся. — Оружие имеете? — спросил он Федора Лукича.

Тот только развел руками:

— Какое оружие, батюшка? Сроду не нашивал...

— Обыщу ведь, — прищурился Костя, — знаем эти песни.

Федор Лукич посмотрел, взведя глаза в передний угол:

— Вот вам святая икона, что нет, ей-Богу же!

После молчания, куря, не вынимая изо рта, уставясь под ноги, точно не чувствуя наших взглядов ожидания, Костя шевельнулся и быстро встал.

— Ну, ладно, — поправил он назад колыт. — Ну, я буду ждать, смотрите, — протянул он руку и опять при пожатии присоединил левую, — может, невольно повторяя привычку отца своего, как тот здоровался в своем мучном лабазе. — А то, разве, к вам нагрянуть? Вы где стоите? В «Европе»?

— Нет, у зятя, — ответил я, стоя против него.

— Ну, ладно, — отозвался он и повернул к дверям. — Ну, будьте здоровы! Пить надо осторожнее, отец! — попрощался он с Федором Лукичем и быстро вышел, сопровождаемый, — дверь захлопнулась.

Костя не замедлил нагрянуть ко мне.

Я лежал, перечитывая «Пиковую даму», когда в дверь, открыв ее, тихо просунулась голова Жоржика.

— К тебе пришел солдат, — сообщил он, — на автомобиле.

Я сразу угадал, кто это, но переспросил:

— Солдат? А где же он?

— Разговаривает с папой... Идет, — скрылся Жоржик, и, действительно, тяжелые шаги, пройдя, остановились за дверью, — распахнув ее широко, вошел ко мне Костя. Он был тот же, с обвислым на поясе кольцом, в пыльных сапогах, с коричневыми лямками на серых австрийских бриджах, в коричневой гимнастерке, с казачьим чубом над ухом.

— Здорово, — поздоровался и сел он ко мне. — Не годится обманывать, — от него пахло спиртом.

— Да я вас ждал, — сказал я, чтобы получить в ответ:

— Я и сам собирался, да вот сапоги с меня спешили, — выразился он казачьим словечком. — Сегодня первый выезд... Ну, едем ко мне?

— Куда это? — спросил я, замечая, почему он помолодел — подстригся и побрился.

— А на дачи.

— А не поздно? — спросил я, не чувствуя особенного желания переобуваться, менять туфли на ботинки.

— Ну, сказали! У меня и машина под окном ждет. В два счета там будем, шофер на контрзекс! Ну, шевелитесь.

И опять сердце мое, соскучившееся по широкой пьяной жизни, воспрянуло, согласилось, — в томлении предчувствий спустил я через Костю ноги, начал переобуваться...

Опять жадный к жизни, но слабый перед людьми, закружился я в пестром, шумном, может быть, чуждом мне хороводе. Здесь был австрийский лейтенант, щеголь с равнодушными глазами, всюду сопровождаемый женой своей — русской барышней из хорошей семьи; был подъесаул-донец, багровый, сидящий алкоголик, инспектор кавалерии где-то; был доктор-сарт, еще совсем молодой и страстно, женски преданный социализму, упорный пьяница. Были еще многие, меняющиеся, вереница ширококоразгульных, смелых, честных по-своему, рьяных к жизни людей...

* * *

Помню, как поздним вечером сидели мы вдвоем с Костей за столиком в кофейной «Виктория» над стаканами голого спирта; свет горел ярко и холодно, на стеклах плыли подтеки дождя, окна потели; музыканты, — румыны-скрипачи и русская таперша, — визгливо, подмываяще, но очень верно играли «Ки-ка-пу».

Спирт, отдельными глотками, чутко проходил в пищевар и начинало ссадить, жечь. Допив стаканы, расплатившись, мы вышли на улицу; дождь еще сеял тихо, моросил, журча звонко бежало, перебиваясь в частое капанье из труб; лошади, потемнев, заметно дышали паром; мы свернули на безлюдную улицу, пошли под освещенными занавешенными окнами; там, где забыли занавеситься, мы оглядывались; поставив воротник брезентового дождевика, пряча руки, Костя горбился, заплетал ногами, кашлял.

Вскоре лицо мое стало мокрым от дождя, но эта свежесть была приятна, она точно утишала изжогу.

Вдруг музыка послышалась мне сквозь безветренный шелест дождя, сквозь тонкое урчанье выливающихся труб, — я приостановился: тополя за забором пахли горько, где-то были открыты окна на листовенную, травяную свежесть и скрипка, не нанятая, как там, в «Виктории», возвышаясь до голоса, длительно дрожа, передавала песню...

Я догнал Костю через два дома, он тоже остановился, смотрел с середины тротуара в незанавешенное окно; еще не оборачиваясь, — что там, в окне, — я заметил, подходя к нему, как Костя слазил под дождевик и обратно, поднял на уровень груди руку с кольцом.

— Что ты? — спросил я.

— А вот пуцу разок вон... погоди! Пусти, — шатнулся он, отступая от меня, — тебе какая нужда?.. Оставь!.. Слышишь, оставь!.. Оставь, я тебя... самого... — говорил, бормотал он, все-таки подчиняясь мне в шагах дальше, но цепко держа револьвер, — и выстрел раздался.

Он прогремел в сыром воздухе, бахнул, никого не задев.

Костя, трезвея, попросил:

— Оставь, постой, я спрячу, — и опять спрятал кольт в кобуру под дождевиком.

Мы шли дальше под руку, молча; я шел и видел, — как увидел в то мгновение, — веселую семейную столовую с тарелочками на стенах, и в розово-желтом свете лампы над столом сидела, — в кругу всех, рядом с девочкой с косицами в алых ленточках, рядом с бледным горбившимся стариком за пасьянсом, — она, моя забытая утренняя встреча, сияя глазами, ртом, темнее розового в этом домашнем свете в своих воротничках с галстуком...

Итак, я несколько помог ей, избавил ее от напряженного впечатления, от разбитой лампы, переполоха, испуга, а может, — смерти: кто разберет, куда хотел целить этот чудак, обезумев от спирта и тоски?

* * *

А теперь, не так давно, мне говорил приехавший старый знакомый, что ее, застрявшую с поляками в Ново-Николаевске или в Крас-



ноярске, — расстреляли...

Неужели не нашлось руки, которая отвела бы выстрел? Ибо «со смертью всякой живой души, умирает мир прекрасный, который не повторится». А ее мир, ее душа, разве не была она прекрасна своей жизнерадостной причудливостью в нарядах, живыми выпуклыми глазами, верхней губой, приподнятой солнцем для беспечной усмешки?

А может, она жива и посейчас; вот именно сейчас, когда вспоминаю ее я, для нее совсем неизвестный, совсем забытый, ибо то утро, когда вышел я для встречи на подъезде, смешалось, наверное, с солнцем других утр, — вот сейчас, повязавши голову платком, в рукавицах несет она беремя дров, поддерживая, и, конечно, глаза ее сияют, неуклонные в своем взгляде, и легка уверенная походка.

МУЗА СТРАНСТВИЙ

(Отрывок из романа)

...И Муза Нстойчивых Странствий
Дыханье таит за спиной.

I

Однажды, проснувшись около десяти, радостно взволнованный снами Алексей решил, что обязательно напишет Софье.

В городе в этот час падал еще один утренний январский снег, в комнатах было тихо; до чая, с мокрой от умыванья головой, он сел к столу и написал на открытке с морской бурей, — «В смертельном страхе», — следующее:

«Вашу записочку, Соня, я получил в тот вторник, в девять часов вечера, вернувшись с вокзала. После чтения явилось раздумье, а потом — искушение... Теперь, третью неделю, я веселю здесь свой отпуск: ем, сплю, опять ем и сплю, читаю, то есть пробую читать вашего восхитительного Гофмана и — “довлеет дневи злоба его”. Но не напишете ли вы мне чего-нибудь? Ну, хотя бы о том, как пел Кармелинский. Жму вашу руку. Алексей».

Минул месяц. Был опять седьмой час вечера; наслаждаясь безветренным бураном, Алексей пришел в белый дом на Архиерейской, где вторая дочь овдовевшей через расстрел, матерински внимательной Натальи Аркадьевны, Лиля, своими тонкими бровями, спокойствием и вдруг какой-то бесшумной смелостью загораживала тот, темноволосой Кармен, образ Софьи. За ужином, с водкой и мадерой, картавый, жеманный гигант штабс-капитан Трауте сказал, чокаясь:

— А все-таки вы расскажите нам, кто вы такой: кавалерист, артиллерист, моторист... или...

— Или — артист! — сказала старшая, Татьяна Николаевна, невеста Трауте.

Все рассмеялись.

— Нет, — ответил Алексей, — хотя, может быть, и я припишусь со временем к труппе какого-нибудь военно-подвижного театра, но пока я до некоторой степени конник.

— А в артиллерию не хотите? — спросил Трауте.

— Можно, — кивнул Алексей и посмотрел на зеленое стекло рюмки.

— Ну, тогда — «всадники-друзи в поход собирайтесь», — якобы пропел Трауте. — Во вторник, послезавтра, следует выезжать.

— Едем, — кивнул Алексей и стал смотреть на куски индейки на

блюде, которое только что поставила на стол Дуняша, похожая на сестру милосердия.

После ужина в зале, где было темно, у окна, при голубоватом потемковом сиянии, Лиля спросила:

— Вы действительно хотите ехать на фронт?

— Ну да, — ответил Алексей, глядя на ее мерцающее лицо.

— Но ведь ваш отпуск еще не кончился? — спросила она, хлестнув что-то жгутом платка.

— Нет еще...

— Господи, какая ретивость! — прошептала она, свивая, растягивая платок. — Я бы осталась...

— Вот как... — замедлил он, ибо в комнате, точно укутанной теньями, в слабом проблеске багетов, как на туманном полотне кино, забрезжил образ Софьи...

Отъезд отсрочился. Два вечера в белой доме на Архиерейской играли в карты, расписывали, слабо пыля, пристукивая по свежему, зеленому сукну мелкими; Лиля, опять озабоченная, играла озлобленно Листа, одна в парадно освещенной зале. Алексей, пьяный каждый вечер, благодушествовал, — и во вторник, встав после роббера в четверть одиннадцатого, начал откланиваться, целовать ручки, и пошел через комнаты в переднюю; там он разобрал чужие полы, стащил-вытащил свою длиннополую кавалерийку и, облачась, оправившись, всем довольный, вышел через двойные двери во двор; дорожка была чисто разметана, над каменными воротами светил на безлюдный тротуар лампион — в оттепель... Была на этот вечер в кинематографе на людном углу люднейшая теснота, теплынь, даже жара, ибо шла, мелькала в потемках гудящего вентиляторами зала чудесная, вкрадчиво-безмолвная будто жизнь, в лицах Максимова, Веры Холодной. Там, в этой людной парной темноте, раздраженный приятно, Алексей познакомился с женщиной, ужинал с ней и спал вместе; потом, уже через день, он слабо помнил ее лицо, забыл ее имя, чувствуя воспоминанием только недевическое тело; еще запомнилась ее шляпа: плоская, парчовая, с куньим ободком...

II

Прошло полторы недели с того вечернего десятого часа, когда он сел-влез в теплушку, уезжая в компании Трауте к фронту, провожаемый людно, весело, даже криками «ура» в вечернем воздухе при фонарях. В батарею он так и не попал: в Акше он перешел-перенес, смеясь, свои вещи на броневик и вечером броневик все-таки жутко тронулся в ту сторону, которая еще так недавно была запретной, зловещей своей землей... В сумерках, будто пасмурных, при морозце, по-

шла ходуном, разворачиваясь широко снежными полями, пролесками Польша Заволжья: телеграфные столбы опускали свои оборванные, в иных местах напрочь, протянутые по снегу провода; зияли, как раскрытые могилы, углубления разрывов — черноземом по снегу; путевые сторожки с павшей раскрыто оградой или сразу нежилые — с выбитыми стеклами, с развороченной тяжким стремлением кровлей, с растворенными настежь службами... Глубокой ночью платформой вперед вкатился броневик на свет высоких фонарей опустевшего депо, безмолвных мастерских, большой станции — на расчищенные, совершенно и странно свободные от вагонов длиннейшие пути, — и задержался, остановился против вокзала в снежном полном освещении.

«В этом городе, там, за темной горой слободы, уже уснувшей, живет Софья... А может, она уже уехала обратно домой?» — Он сошел на платформу, оскользнувшись на гололедице асфальта, ежась, глубже запуская руки в карманы полушубка, побрел к дверям первого класса: вот здесь, пройти через этот коридор, к задним дверям, на завокзальную площадь...

Он проснулся уже днем, за три станции — шесть часов сна, река, три станции, солнечное утро поздней мартовской зимы отделяли его от его воспоминаний. Здесь, на узле двух, к Волге, дорог, в заснеженных степях опять забредила бодрость. Пили чай с маслом, пел прапорщик Ухов Вертинского, о жизни и такой простой близости смерти: «Я не верю, что в эту страну забредет Рождество...»; а потом, после обеда, который команда получала особенно шумно, после обеда стали, одевшись по-боевому, собираться к боевым коробкам, к броневым вагонам; поезд уже разделился: база — теплушки, американские и классные вагоны, ставшие вдруг такими покойными, баня, канцелярия, цейхгауз, — все это осталось мирно, безголово на месте, а короткая боевая с локомотивом посередине пошла за стрелки, за семафор — навстречу врагу.

В коробке, в этой крытой низко углярке, будто бы броневой, было полутемно, холодновато, неудобно, хотя бы потому, что надо было переступать согнувшись. Сев против Ухова также на ящик с патронами, Алексей стал преувеличенно восторгаться Изой Кремер, вызывать Ухова на спор. Солдаты-пулеметчики уже присели на пол к низким бойницам, к пулеметам, по двое около каждого, устанавливали.

— Нет, знаете, — отвечал Ухов, закуривая, хотя курить было опасно, — вот кто поет Вертинского — капитан Трауте.

— Капитан Трауте? — воскликнул Алексей под вагонное бречанье. — Но разве он поет?

— Поет, — кивнул Ухов, — правда, в исключительных случаях. Но дивно поет. Ведь он же картавый!

Алексей закурил.

— Жаль, что не удалось мне послушать. А ведь я, знаете, почти

служил у него.

— Вот как? В батарее? Когда?

— А до броневика. Я от него к вам перешел... Милый человек!

— Симпатия. Вы с ним, наверное, встречались у невесты — на Архирейской?

— Да.

— Я там тоже бывал, — улыбнулся Ухов, отбрасывая окурок. — Помните: Лиля, столик Татьяны Николаевны с пасьянсом, Наталья Аркадьевна... Кормили там дивно.

— Странное дело, но почему мы ни разу не встречались?

— Бог знает... Нет, знаете, мы с вами встречались. И даже, представьте себе, родственники.

Алексей изобразил удивление:

— Да? Не понимаю!.. Где, когда? Через кого это мы породнились?

Ухов смеялся глазами.

— Вы помните Иродиаду?

— Иродиаду? Нет, представьте, не помню.

— Ну, может быть, вы не знали этого имени... Помните, вы были в кинематографе на этой, как она, — «Женщине, которая изобрела любовь» — с одной особой?

— Шатенка? В парчовой шапке? — обрадовался Алексей и вспомнил про броневик: движение в полу замедлилось...

— Разъезд, — ответил один из солдат, толстощекий, в черной папаше, лежа на локте, засматривая будто безразлично в бойницу. — Стоять не будем...

— Разбито здорово, — отозвался ему его второй номер. — Это из четырехдюймовки...

В полу заскрипело, поезд тронулся. Опять привыкнув к сотрясению, Алексей задумался... Молча, только куря и не запрещая курить солдатам, которые переговаривались негромко, иногда смеялись, — ехали продолжительно до станции. Она была тоже не цела; в зале, где помещались вместе и багажное отделение и стойка, все раскинулось, как от вихря, сквозь выбитые стекла напал снег, а на стенах разными почерками, кое-где стершись, читались угольные надписи-угрозы и убеждения белогвардейцам.

А там, за этой брошенной, будто ничьей станцией началось уже совсем открытое, обнаженное, заставляющее зябнуть. Ход стал томительно тихим, потому что впереди теперь шли разведчики, осматривая путь. Солдаты не разговаривали.

— Ну, приготовьтесь, — влез в дверцу, улыбаясь, поручик Курдюмов, артиллерист. — Сейчас начну.

— А в чем дело? — оглянулся Ухов.

— Да обоз малость щипанем. Готовьтесь, — вышел он в переднюю дверь к орудию,

— Так, — отозвался Ухов и полез на пол, к бойнице.

Там, за стенкой, прислуга уже выкатывала орудие на платформу — слышно было. Потом, — очень быстро управились с установкой, — донесся высокий голос Курдюмова; и отчетливо: «орудие! огонь!» Тотчас ахнуло, зазвения в ушах, посыпалось с потолка дрянью, полуоткрылась дверь. Подавленный, обеспокоенный, Алексей полез на пол; он уже глядел в бойницу, видел серебристые горизонты, искал... когда истошный крик Курдюмова опять приказал ахнуть, ударить воздух, и опять отозвалось в желудке, опять сыпалось с потолка. Тут стало бить второе орудие. Щурясь, предостерегаясь невелико, Алексей все отыскивал, следил, смутно сознавая, что та вереница довольно бойких букашек на просторной скатерти снегов — ведь живые люди и простые крестьянские лошади, расстреливаемые отсюда, через версты, из двух трехдюймовок...

Кто-то потрогал его за ногу.

— Командир, вас зовут чай пить, — ответил его взгляду рябоватый солдат.

— Да? А он где? — спросил Алексей, поднимаясь на руки.

— В стрелковом. Тут рядом...

Он вылез в дверцу, перешел по настилу над буферами, замечая неподвижность броневика, всунулся в дверцу соседнего вагона и влез к стрелкам. Они лежали на своих нарах вдоль боковых стенок вагона, каждый приладив винтовку в бойницу, — некоторые оглянулись на него. Капитан Могильников, большеусый, в романовском полушубке, сидел поперек вагона на доске перед парящей чаем кружкой.

— Чайку? — предложил он негромко басом.

— Благодарю, — ответил Алексей, замечая испарину на командирском лице, проникаясь спокойствием.

— Ипатов, — налей, — приказал капитан. — Присаживайтесь-ка... Ну, как вам нравится у нас?

— Да в общем очень занятно, — начал Алексей, садясь верхом перед капитаном. — Я ведь, признаться, еще зеленый в боях. Правда, контужен не так давно, но в германскую кампанию пороха совершенно не нюхивал: все ловчил!

— И удачно? — расправил командир свои кадровые усы,

— Да пожалуй, — принял Алексей от солдата кружку. — Надо отдать справедливость...

Вольноопределяющийся, черноглазый молодой бомбардир у разговорной трубки, перебил:

— Слушаю!.. Есть! Господин капитан, с наблюдателя передают, что справа видны цепи.

— Кто говорит? — не торопясь, обтирая усы, спросил капитан.

— Поручик Лобинтович... Ага!.. И слева, господин капитан!

— Так...

— Пулеметы?

— Можно пулеметы, — согласился капитан так просто, поправляя

перевязанный крест-накрест башлык.

И вольноопределяющийся-бомбардир, точно обрадовавшись, начал кричать в рыльце трубки:

— Паровоз? Паровоз? Господин поручик! Передайте в переднюю, чтобы начали пулеметы!.. Ага!.. Задний? Огурцов? Передай прапорщику Ухову, чтобы начинал!.. Паровоз! Как дела с обозом?.. Ага...

Тут донеслось, — сначала будто зазвенев, — дробное хлопанье пулемета; задержавшись, он точно выждал голос второго; а там и третий, вызывая на чечетку четвертого...

— Господин капитан! — закричал вольноопределяющийся. — Обоз рассеян...

— Ага, — отозвался невозмутимый капитан. — Орудиям — прекратить.

— Поручик Курдюмов уже, кажется, прекратил. Я сейчас справлюсь. Огурцов! Задний!.. Задний? Курдюмов прекратил? Прекратил?.. Ага! Паровоз! Уже передали? Хорошо.

А тут сорвался и в самом вагоне выстрел.

— Кто стрелял? — спросил капитан при общей неподвижности.

— Я, господин капитан, — ответил кто-то негромко, но спокойно, как правый.

— Почему стреляешь без приказа? Наряда хочешь?.. Стреляйте. Пачками.

И они, эти стрелки, приложившись, начали трахать-посылать, передергивать затворами и опять...

Алексей поднялся с доски. Он один был совершенно свободный. Он чувствовал удивительную чуткость, остроту и в то же время очарованность чьей-то непреклонной волей. Он побрел по вагону, чтобы перейти обратно к пулеметчикам — зачем? Так... На буферах ему стало морозно-опасно: и справа и слева с коротким посвистом неизбежного могла прилететь смерть. Ах, конечно. Его, до неловкости ослабшего, видят там, в далеких сугробовых цепях!.. Он ввалился к пулеметчикам, сразу же поражаясь новизной и наконец понимая, что это — перемежающаяся гулкая стукотня пулеметов; он увидел, — сначала странно, — подливание из бидонов в охлаждение, увидел раскинутые ноги лежащего Ухова, руки его, вздрагивающие, обхватившие дрожащие ручки пулемета, торопливую, будто обезьянью работу двух присевших — набивку вручную лент...

Уже в темноте возвратились к базе, вылезли, радуясь и звездам, и захолустной тишине, пошли, облегченные, к мирным вагонам. После плотного чая, раздевшись, Алексей лежал на верхнем диване, следил, ловил трепетанье от свечей внизу, голос немолчного поручика Курдюмова. Да что же ужасного, что он так просто, даже весело приложился с колена там на платформе и свалил с лошади красноармейца, за дальностью неясного лицом...

Был выезд на позиции и на другой день — с обеда; опять была

стрельба, уханье, сыпалось с потолка; была дуэль с броневиком красных, визжащие воздушные полеты и тяжкие, сердце леденящие, обрушивания, метания прахом чернозема из-под снега; опять разглядывались эти черненькие цепи на снегах; задерживаясь, выдалбливали — стучали пулеметы... Был выезд и на следующий день, два ранения шрапнелью, четверо пленных, стремительный налет на разъезд, тюки литературы, острая радость поспешного бегства врага, еще два пленных, их серые лица и покаянная готовность и говорливость.

В этот последний приезд, опять обновленный возвращением, он пришел ко сну в свое купе поздно, в первом часу, засидевшись за разговорами, за песнями, вместе с Уховым, на соседнем броневике.

— Ну, Николай Ардальоныч опять завинтился у командира, — говорил Ухов о Курдюмове, набивая при свече папиросы на ночь.

— Да, — прошептал, прорвался Алексей сквозь сладостную бережную повелительность дремы. И опять перестал сознавать Ухова и его полыхающую свечу. Лицо матери, все доброе, старчески мягкое, встало где-то на покойном сквозняке, глаза глядели внимательно; любясь, она что-то сказала, шевеля губами, прищурилась...

Это был удивительный час удивительного времени: закат ли, восход, осень, весна? Плодовый щербининский сад, старый знакомый, просвечивал, сквозил, совсем как в раннем апреле. Но все же за спиной, — он сидел тут, на открытом воздухе, спиной к той дивной меди, — отгорал, пепелил день июльский, день отцвета, колосистой засухи. Они пили чай. Не было слышно птиц. Было до легкости просторно, раскрыто и так звонко, что он слышал чужие голоса точно в себе. Он сидел за садовым столом, чувствовал плетеный скрип кресла, различал крупную рябь блесклой скатерти; в синем кувшине стояли желтые полевые цветы... Ласковые, точно неживые, руки тетушки Екатерины Арсеньевны несли медленно, сотрясаясь над скатертью, чашку чая ему. Он принял и на миг, казалось, засмотрелся в это испаряющееся, розово-медовое...

— Почему у вас такие странные глаза? — спросила Софья.

Смигнув, он поднял взгляд, усмехнулся ее глазам над краешком чашки и сказал проникновенно, ибо воистину сердце его изнемогало:

— Я что-то предчувствую... Пожалуй, должно случиться нечто трагическое.

— Ну, перестаньте, — ответила она; но зрачки, ее женские зрачки в палевой живой эмали, говорили, что он прав. — Вы вечно со своими нервами! Уж ни чудится ли вам, что мы все сегодня умрем?

— Нет, это было бы чересчур комично, — ответил он, мгновенно озаренный страшным значением сказанного, и сжал руки, насупляясь на пальцевую удобу, на хищную твердость чистоплотных ногтей. — Это было бы комично... Да и можем ли, в конце концов, мы умереть?

Мыслима ли смерть? Никогда! Я, вот этот, сидящий против вас, радостный в тоске чудных предчувствий, я — не умру. Я не могу умереть! Придет час, станет непосильным духу бремя, и он выйдет легко, как свет, а тело — останется, вот так вот облокотясь и обессилев челюстью, сдвинется вещью, осядет, и пролетающая птица уже в стекле мелькнет... А я? Я буду висеть, облетать, устремляться; и я буду видеть вот эти закаты, понимать их отраженья на воде и вот эту звонкость, и лысые виски Екатерины Арсеньевны. Что ж, что не с кем будет мне перемолвиться, передать медленной легкой песней свои желания...

Столбняк, белесость ужаса, обескровленное напряжение лица Софьи заставили его ринуться — он оглянулся.

Вихрево, но не тронув даже желтенького лепестка на толстой скатерти, изменилась окрестность: она была теперь густовато-людна; она сквозь сад, совсем опустившийся, разредевший, как огород, — предстала ему своими далями как некий остров, возвышенный в пасмурном тумане небес; ветряные мельницы, неподвижные, стемневшие-старые; кумач и белен, холст мордочек виднелся там; толпились в саду, возвышаясь над кустами (потому что деревьев уже не было). Некто, одетый в старое, порыжевшее, длинноволосый, в очках с обмотанной нитками переносицей, чернобородый и стариковски болезненный, — сказал басом: «Сейчас начнут».

— Что начнут? — изменился он в лице, поднимаясь, замечая мельком одну Софью, белый батист ее и сцепленные руки.

— Начнут стрелять, — ответил чахоточный своим клекотом.

— Куда? Кто? — еще стремительней спросил он.

— В солнце. Большевики. Потому что отчаялись во всесветской революции. И вот изобретены (он сказал: изобретены) ими пушки, которые берут до солнца.

— Так значит?

— Катастрофа. Светопреставление. Каюк, — ответил он просто своим львиным голосом.

О! он как бы перестал сознавать все, кроме своей беды. Он не понимал прикосновенья Софьи, теплоты, дрожанья. Он ширил глаза, выпрямляясь, точно готовый взлететь, — но ему не хватало воздуха. Он видел солнце, которого раньше не замечал: оно было такое злоеющее на тумане вместо синевы, злоеющее неяркое, но светлое все же... И гул первого выстрела, слабый уху, торжественно потряс подножье, его внутренность; что-то огненной точкой метнулось там, к солнцу — и еще раз сотрясение поколебало его.

...То, что всегда было так далеко, невероятно своим приходом, что снилось, но ведь исчезало в облегченном пробуждении; смерть, забвение, последнее, — вот что опускалось в отдаленном, чередующемся быстро гуле. Смерть...

Он обезумел, опьянел — он хотел жить. Напрягаясь, звеня слезами отчаяния и отваги, он закричал; он кричал, что нет, он не хочет

верить — это не смерть. Быть этого не может! Ну, пусть умрет он, напуганный чужаком, но разве может умереть наша прекрасная земля? Разве умрут льды, навсегда торжественные льды безлюдных полюсов, и они, эти города, сладостные даже в воспоминании, и эти чудовищные вечные разливы ветреных океанов, и все луга с коростелями при буд-то влажной луне?

«Нет!» — кричал он подле чайного опустевшего стола (куда делась тетюшка?), посреди очарованных жуткой, баснословной стрельбой среди кустов засыхающего крыжовника — глядя в лучистой тоске на меркнувшее под мельками взрывов солнце. Оно меркло поразительно легко: уже сумерки, совсем весенние, побелили лица. Уже, казалось, светило догорающим, в прожилках, углем; уже рыдала Софья...

Он очнулся и увидел свет свечи и тесноту купе, и как стремительно запрокинулся Ухов, подтягивая свои зеленые бриджи.

— А? — спросил он как глухой.

— Тревога, тревога, — ответил Ухов, поднимаясь, замахивая помощи. — Вставайте, сейчас выезжаем.

— Я не поеду, — ответил он медленно и щурясь.

— Нездоровится? — приостановился Ухов.

— Не могу... — сникнул он на подушку, погружая лицо, растроганный исчезнувшим чудом, будто продолжая испытывать близость Софьи...

— Конечно, не езжайте, — из светлой пропасти пропел голос Ухова.

III

Он с детства отличался своенравностью, а недавняя контузия могла только поощрять его причуды. Во второй раз проснувшись — уже при солнце, при радости дня, — выйдя после чаю из вагона на рельсы, увидев капли, весеннее солнце, весенние небеса над блистающими снегами поздней зимы, он понял, что ему не жить на броневике, что он больше не сможет выехать в пулеметном вагоне туда, к выстрелам. «Жить, видеть вас, Софья, пусть вы и чужая, друга, невеста!..»

Он так и сделал. После обеда прошел он за пути, радуясь украдке весеннего головокружения, слепясь блеском уже опавших сугробов, прошел в казенное здание на передовой перевязочный пункт и, представившись, завел вполголоса беседу с дежурным врачом; потом он раздевался, снял через голову рубашку и, зябкий, сделал стойку перед врачом, вытягивал руки, закрывал глаза... В общем, он нуждался в месячном отдыхе.

Да, он приехал в тот город, опять видел те улицы, шел по людной, отдаленной от той, с коричневым, в белых рамах, домом. Но повторяется прелесть простоты в нашей жизни, и он, влюбленный Алексей Штраус, почти столкнулся с любовью своей, уступая дорогу двум протоиереям.

— Здравья желаю, — начал он легко, даже снисходительно. — Не ожидал вас застать здесь. Думал, что вы уже дома...

— Здравствуйте, Алеша, — ответила она просто. — Ну, это не так-то сразу, как вы думаете. Ну, а вы как очутились здесь? Сережа тоже приехал?

— Нет, Сережа нет, — ответил он тише. — Я один. В отпуску... я ведь теперь в броневике...

— Уже на броневике? Мятущаяся душа! — и каждый прохожий мог видеть ее улыбку. — Теперь что же вам осталось — пехота? Авиация?

— Вот именно...

Она еще улыбнулась.

— Однако... если хотите, — провожайте меня, — пошла она. — Я хочу есть и тороплюсь!..

— Ну, как Нина Григорьевна? — начал он, заходя слева.

— Ничего, по-старому, — ответила она, замедляясь на перекрестке. — Ну, а вы надолго к нам?

— А еще не знаю, — ответил он, замечая ее старые без калош ботинки. — Сколько проживется... Думаю куда-нибудь ударить.

— Вы действительно в отпуску? — спросила она, оглядываясь. — Вид у вас все-таки неважный... Плохо отдыхали.

— Может быть, — ответил он, принимая от мальчика афишку. — Хиромантка... Пойду! — но она не улыбнулась. — Ну, а как вам жилось при коммунистическом строе?

— Как жилось? Как всегда, — улыбкой ответила она на приветствие чернобородого в золотых очках. — Как всегда за последние годы и, стало быть, — не очень хорошо. Но и не так плохо, как вы думаете... Хорошие люди, Алеша, встречаются везде.

— Даже и у них? — спросил он.

— Да, и у них. Я с удовольствием вспоминаю некоторые из знакомств, хорошие беседы, участие... Вообще — порядочных людей.

— Ба, ба, здорово же вы покраснели! — усмехнулся он.

— Не знаю, — возразила она, не улыбаясь. — Мне кажется, я ни правела, ни левела за это время...

— Но все-таки взяли влево? — спросил он, глядя на нее.

— Не знаю. Я, по крайней мере, этой перемены не чувствую. Какая была, такая и осталась. Не так ли? — взглянула она и улыбнулась.

— Но все-таки эти приятные воспоминания о знакомстве...

— Почему не неприятные? — спросила она. — Трудно это вам объяснить. Вот если бы вы здесь прожили, пережили, тогда бы вы, наверное, сказали то же, что я говорю.

— Ну, навряд ли! — воскликнул он.

На углу он остановился.

— Ну, я пожелаю вам всего доброго, — снял перчатку. — А может, теперь вы меня проводите?.. — склонил он голову.

Она улыбнулась.

— Какой чудак! Знаете, я сейчас могла бы съесть вот этого белого пса. Если бы, конечно, кто-нибудь зажарил его... Ну, Алеша, — она сделала серьезное, внимательное лицо, — заходите к нам. Когда вы зайдете?

— Обязательно зайду, — ответил он, пожимая руку.

— Ну, а когда? — смотрела она. — Нина будет так рада... Заходите как-нибудь вечером, — она отошла. — Заходите же. Обязательно, — оглянулась через плечо.

Вот такая была эта встреча. Он пошел назад, расстегнув шинель с нижних крючков, ступая, звеня шпорами. Заметил кофейню, вошел, сел за столик к окнам, стал стягивать перчатки. Дама с добрым внимательным лицом подошла к его столику.

— Кофе по-варшавски и... пирожков могу я вам заказать?

— С рисом и яйцами? С яблоками? — спросила дама.

— С яблоками, будьте добры.

— Пожалуйста, — любезно ответила дама.

Она отошла. Освободившись от перчаток, он вытянул бумажник и положил его перед собой; бумажник, большой, темно-красный, уже потускнел, уже разгладил местами свою кожаную насечку, пропахший многими, давно забытыми в отдельных складках запахами. В левом мелком отделении он опять нашел два серых женских конверта и вынул их...

V

Он жил шестой день в городе, ночуя и столуясь у знакомого еще с осени зажиточного студента-спекулянта. Каждый вечер в доме собирались гости, играли в карты, обильно ужинали, пили спирт и порядочные удельные вина, пели песни. Студент был чрезвычайно верткий человек; вместе с ним Алексей бывал в квартирах и в складах каких-то греков, армян, евреев и татар, познакомился с барышниками-цыганами, за безделицу купил у старого цыгана Дунаева молодого ирландского сеттера. По утрам, выпив натошак, с Аркадием, — как звали студента, — и, плотно напившись кофею с маслом и сыром, так что

была отрывка, Алексей курил и раскладывал пасьянсы, пока старая Аркадьева нянька (она была, кажется, у него единственным близким) и глупая девка Фроська убирают опять загаженную столовую и залу; потом он переходил в залу и заводил граммофон, — он мог его слушать по два часа: вслед за романсом Тамары ставил и веселые разговоры Бим-Бом, потом скрипичные, так странно певучие в этом зале утром арии... Читать он совершенно не мог. Попалась однажды хорошая книга — Харьковский юбилейный сборник имени Потебни, необъяснимо очутившийся в зале, в комнатах его беззачетного математика Аркадия, — и не мог читать. Иной раз вот в такие пустые часы ему начинало казаться, что вообще он никогда не читал, ничего ладом не учил, никогда он не имел семьи, что-то похожее видел разве во сне, равно как и любовь — и что этой беспросветной жизнью он живет долгие месяцы, — нет, долгие годы встает поздним утром с пустой головой, кормит щенка серным цветом, думает о бритье и откладывает затем натошак опохмелиться и начать в полдень новый день какого-то мрачного соседства с жадной напряженной жизнью Аркадия и его торговых приятелей. А разве так уж паскудна была эта жизнь? Он, везде внимательный к запахам, к цветам, всегда влюбленный в движение, в голоса — румынского ли вальса в сигарном современном зале Максима, или звонкие женские зауспокойные молитвы монашек на апрельском кладбище, или комнатное насвистывание щеглов у косяка при солнце, — разве теперь он замуравлен в стену? Выйти во двор — и сейчас же услышишь смолистое дыханье свежего теса, перебой рубящих топоров, стремление капелей и эти сладостные, ржавеющие пятна назьма под оживленное чириканье, перекличку воробьев!..

С некоторого времени на вечерних сборищах Аркадия стал появляться некий Костя Бикчурин, тоже студент, доброволец, младший фейерверкер, рябоватый веселый картежник и любитель выпивок.

Алексей сразу расположился симпатией к его шуткам и к отчаянности, которая также казалась шутливой, и к баритонным напевам: «Жили двенадцать разбойничков, жил атаман Кудеяр...»

Был вечер, одиннадцатый час. В проходной белой комнате, — весь дом Аркадия был так начисто выбелен, — сидели на диване Алексей и Костя; оба были хмельны, свет свечей тепло отражался в добрых зрачках Кости.

— Да, дела каюк, — говорил Алексей.

— Ну что каюк? Поправимся! — возразил Костя и запел: — «То ли дело под шатрами, в поле лагерем стоять!...» Эх, нечего тосковать, Алексеич!.. Небось, проигрались?

— Нет, не проигрался, — ответил Алексей, ероша волоса. — Хуже.

— Хуже? Это что ж такое хуже? — якобы решал Костя. — Не соображу. Ей-Богу, не соображу!

— Дело хуже, — начал Алексей. — Я влюбился на собственную голову.

— «Лизис» Платона? — спросил Костя. — Пустяки! Переходите на новую литературу... Или взаимность медлит?

— Нет, взаимность как будто не замедлила, — ответил Алексей. — Дело не в этом. Я, видите, влюбился в невесту своего приятеля...

— Официальную невесту?!

— Нет. Но, по крайней мере, он давно решил жениться на ней.

— И не женился до сих пор? Плохо! Лидируйте и хлопочите с соглашением... Или свадьба вас не устраивает?

Алексей облокотился и закрыл лицо ладонью.

— Да вы не обижайтесь, Алексей Алексеевич! — положил Костя ему руку на спину. — Я, видите ли, имею эту привычку...

— Нет, я не обижаюсь, — ответил Алексей. — Делать не знаю что, вот что!

Костя задумался.

— Н-да, — заговорил он. — Что вам посоветовать? Теряюсь. Нигде под Симбирском не терялся, а тут теряюсь! Вот что: поступайте, как вам подсказывает ваше штраусовское сердце. Вообще — все суeta суeta и томление чувства... А вот про «чижика в лодочке» мы что-то забыли...

И, приподнявшись, он налил, и они, чокнувшись, выпили.

— Вот что вам хотел сказать, — начал Костя, слезясь глазами, пережевывая. — У вас никогда не мелькало позыва сделать... сделать эдакое турне — во Владивосток, скажем, или дальше?... Кому как, а мне здорово-таки надоела вся эта микстура, как выражается Аркадий Петрович Золотоверховников! А вам?

— Да и мне это не всегда нравилось, — ответил Алексей, прикуривая от свечи. — Но...

— Никаких но! — решительно отрубил рукой Костя. — Хочется, значит, поедem. Хотите завтра? Или лучше послезавтра... Да, послезавтра!

Алексей улыбнулся пламени свечи.

— Хорошее это дело, — ответил он медленно. — Но, знаете, у меня никаких почти документов нет и денег...

— А у меня, думаете, и то и другое? На кой они нам?.. Денег возьмем у Аркадия, а остальное — это все пойдет как по маслу... Ну, по рукам?

Они потряслись рука об руку и выпили налитые стопки.

На другой день в шесть вечера они отправился к Софье. Еще за два квартала опять поразил и взволновал его этот коричневый с яркими белыми рамами дом среди садов, — черных, сквозных, высоких, — забрезжила и заныла отвага предчувствий завтрашней дороги...

— Барышни Лагутовы дома? — спросил он на крыльце в щель двери на цепочке.

— Кто? — переспросила хрипло в надвинутом на лоб платке девочка-подгорничная.

— Софья Григорьевна и Нина Григорьевна, — пояснил он.

— Софьи Григорьевны нету, Нина Григорьевна дома, — ответила девочка.

Он разделся в старинной домовой передней с сундуками в коврах, с большими широкими вешалками, на которых развесились точно сплошь салопы и бурнусы; девочка, утираясь, уставилась на его шпоры, на вислые бриджи. Оправившись, вытерев слезы на больном после контузии глазу, он прошел по коридору и постучал.

— Войдите, да, — ответил голос Нины — и он вошел.

Нина встала тотчас навстречу. Она была в синей матроске, смугло-румяная, с косой.

— Наконец-то! Как вам не стыдно, — заговорила голосом таким же низким. — А мы думали, что вы давно уехали. Знаете, гадали на вас, и вам все выходят дороги.

— Это похоже на правду, — ответил он, сморкаясь. — Я уезжаю завтра.

— Куда? — спросила Нина, останавливаясь.

— Во Владивосток!

— Час от часу не легче! — воскликнула она. — Ты слышишь, Лелька?

— Слышу. Но он так и не намерен со мной здороваться, — ответил голос Лели Щербининой.

Алексей обернулся и увидел Лелю на диване. Он подошел потрясти худую ее мягкую руку и уселся рядом.

— Нет, это серьезно, Алеша? — заговорила Нина, перестилая скатерть на круглом столе. — Неужели ли вы действительно едете во Владивосток?..

— Да, действительно еду... Может быть, дальше, — в Японию, в Америку, — ответил он, вынимая папиросницу.

— Вот вам пепельница, — подошла Нина. — Знаешь, права Соня, называла его мятущейся душой!.. Ну что вы забыли в Японии?

— Ах, оставь его, пожалуйста, — возразила Леля. — Когда же Алеша Штраус был без позы?.. Пусть развлекается...

Он посмотрел на нее.

— А вы все зябнете? — спросил он.

— Ну да, — ответила она, показываясь опять слабогрудым длинным подростком с точно заплаканными глазами капризницы.

Нина принесла чайники и стала готовить чай.

— Я буду вашей кельнершей, — объяснила она. — Ты, Лелечка, пей с вареньем, а Алеша будет пить с сахаром. Или вы, Алеша, тоже хотите с вареньем с малиной?

— Мне все равно, — ответил он. — Может быть, вы нальете мне ту, голубую?..

— Конечно, голубую.

— Да, — наконец решил он, принимая чашку. — А где же у вас самая старшая?

— Самая старшая? — уселась Нина в кресле. — Она на службе. Она теперь у нас все время на службе.

— А где? — спросил Алексей, прихлебывая спокойно чай.

— В приюте. А я в кооперативе. А Леля на железной дороге.

— А домой когда, Ниночка?

— Домой? Когда-нибудь! Все равно сейчас не спишешься и не съедешься. Мы уже писали, писали...

В этой комнате с коричневыми кроватями в глухих спинках с белыми покрывалами, в пучке колосьев на зеленых, будто шагреневых, обоях в фотографиях, была отрадная бодрость, прежнее равновесие. Густело, пропадало за окнами. Нина зажгла в канделябре две свечи; уже совершенно освоившись, потолковав бурно с Лелей, Алексей вышел в переднюю, вынося Лелину шубу, и столкнулся у вешалок с Софьей.

— Здравствуйте, Алеша, — ответила она, ласково блестя глазами. — Наконец-то! Мы уже уверились, что вы окончательно... — она прошла в комнату, — окончательно не хотите нас знать, — она положила на стол перчатки и сняла шляпу. — Вам несколько не стыдно?

— Да знаешь, что он нам сообщил? — ответила ей Нина. — Что он завтра уезжает во Владивосток.

Она обернулась. Ее лицо, тоньше, определеннее Нинино, чем-то похожее на икону, озабоченное, взглянуло...

— Мятущаяся душа! — вздохнула она. — Всегдашний Алеша!.. Ну, чай-то вы пили, господин корнет?

— Уже пили, — ответила Нина, — тут и есть, но холодный. Я сейчас принесу тебе.

— Будь добра, Ниночка, — попросила она и уселась в кресло. — Вид у вас лучше... Где вы пропадали? Уезжали?

— Почти уезжал, — ответил он, оглядывая ее худые руки в мягких манжетах, замечая, что она постарела, ее материнскую озабоченность. Нина внесла чайник. Она подвинулась, разложила себе салфеточку.

— Ну, пожалуйста со мной чай пить.

— Да, выпейте, Алеша, — попросила Нина. — Соня устала, и вы должны развеселить...

— Помочь выпить чай? Это я могу, — согласился он и сел к столу.

— Ну, рассказывайте, — попросила она, пригибаясь, отхлебывая из чашки.

Он посмотрел на старинный потолок с глубокими трафаретами...

— Хорошо, — он помолчал, глядя на ее волосы. — Вот. Жила была в Николопесковском переулке на Арбате одна семья: муж, жена и

единственный сын...

— Алеша? — лукаво спросила Нина.

— Перестань, Ниночка! — попросила она.

— Да, единственный сын... Были довольно богаты и адски скупы.

Сын получал карманных денег всего лишь три рубля с полтиной...

— А сколько ему было лет? — спросила Леля.

— Двадцать, — ответил он.

— Ну, это очень скучно. Вы бы, наверное, бежали бы от такого жалованья...

— Перестаньте, господа, — возразила она. — А то он бросит рассказывать.

— Да, его держали в черном теле... Но вдруг оба они умерли, и он оказался наследником довольно порядочных денег.

— Вот счастливец! — сказала вполголоса Леля.

— Он завел себе автомобиль, частенько стал ужинать у «Яра» и у «Мартьяныча» и вообще веселился. Потом он решил поехать за границу. Но, на свое несчастье, он не знал ни одного западного языка...

— Только татарский? — спросила Леля. — Понимаем...

— Он нанял себе француженку и начал учить французский, немецкий и английский. Но французский давался ему на удивление плохо...

— Как Ниночке Логутовой? — спросила Леля, и все засмеялись.

— Весной он поехал в свое путешествие. Он поехал на Восток с экспрессом. Был в Японии. Потом там, дальше...

— Куда дальше? — спросила Леля.

— Ну, в Индию, если вас так это интересует, — обернулся он. — Из Индии он поехал в Египет...

— Искать Прекрасную Даму, Софию? — подсказала Леля. — Так?

Чувствуя жар краски на щеках, он подтвердил невольно громче:

— Ну, хотя бы и так... Из Александрии он поплыл на материк — в Марсель. Из Марселя — в Париж. В Париже начал веселиться... Однажды он сидел в кафе на Больших бульварах и вдруг почувствовал неловкость. Он оглянулся и увидел, что на него смотрит неизвестная дама, блондинка. Так как вообще он был тяжелодум, то, пока он размышлял, каким образом завести знакомство с этой парижанкой, она поднялась и вышла, одарив его еще одним взглядом. Он бросил деньги на стол и выбежал за ней. Она уже садилась в мотор, он занял следующий и приказал шоферу ехать следом. Они проехали сколько полагалось, и в одной тихой улице она покинула мотор и скрылась в подъезде. Он также выскочил на тротуар и опять остановился в недоумении... Вдруг он заметил, что на асфальт упал белый конверт, а подняв глаза, он увидел таинственную незнакомку. Он бросился к письму, схватил его и... письмо было по-французски!..

— Ну, я знаю вашу историю, — сказала Леля. — Все будут изумляться и отказываться перевести ему, а потом он потеряет письмо.

— Совершенно верно, — ответил он и начал мешать в чашке ложеч-

кой.

— Ну, Леля, как вам не стыдно? — заговорила она. — Ну, Алеша, что же дальше?

— Нет, пусть Ольга Владимировна досказывает, — продолжал он, мешая ложечкой.

— И доскажу!

— Ну вот, доскажите, пожалуйста, — попросил он, выходя из-за стола.

Наступило молчание.

Нина заговорила о продовольственных карточках, о какой-то Марье Семеновне.

Алексей почувствовал судороги и позевоты. Вдруг показался ему напрасным, неуместным этот визит, все эти разговоры...

— Подекламируйте, Алеша, — попросила Софья.

— Что вы? — сказал он, почему-то усмехнувшись. — Какая декламация?.. Помимо того, что я опять боюсь зловредных словечек Лели Щербининой, я ничего не помню. Сигналы разве. Хотите «На водопой»?

— Нет, спасибо, — улыбнулась она. — Я уже напилась...

— Ну, я вовсе не поэтом... — стиснул он руки за спиной.

— Ну, подекламируйте сигналы, — улыбнулась она.

— Знаете, тот, о луке, — подсказала Леля.

Наконец, он поднялся, изображая смертельную усталость, расслабленность, и стал прощаться.

— Итак, вы вправду уезжаете? — спросила Софья, когда он одевался.

— Да, вправду...

— Мятущаяся душа! Не уезжайте, — заговорила она вполголоса и вышла за ним в сени. — Знаете, уже скоро весна, разливы, сирень... Мы будем на лодке кататься. Что вас там ждет? — продолжала она, держа руки за спиной, глядя неясно при свете молодого месяца на этой веранде, где прохладно пахло кошками.

— Что? Счастье, — ответил он, опуская глаза.

— Счастье разве только на Востоке? — спросила она. — Нет, Алеша... Не уезжайте... Не уедете?

— Право, я не знаю, — ответил он, не поднимая глаз, хотя и был полумрак на веранде.

— Ну, подумайте, что хорошего? Вы будете все дальше и дальше от нас, от родного... Ну?

— Не знаю. Решу завтра, — ответил он медленно.

— Ну вот! Завтра вы зайдете? — спросила она, скрещивая руки.

— Я вижу, что вы простудитесь, — сказал он, отступая к дверям.

— Ну вот, пустяки! Мне хочется уговорить вас, — объяснила она.

— Это вам почти удалось. Спокойной ночи!

Он спустился с крыльца.

— Спокойной ночи. До свиданья!.. Вы слышите, Алеша: счастье вовсе не на Востоке!..

— Слышу, слышу, — ответил он, оглядываясь, замечая тень ее, проваливаясь на талом снегу...

На другой день, вечером, вместе с Костей Бикчуриным, он выехал на Восток.

РОДНОЙ ДЫМ

Воздух легкий на нас подействовал, что ли, весна, ветер, в котором солнечность, просторы мая; встрепенувшись, вы говорили бодро:

— А верно — если бы теперь в Осоргино? На станцию бы лошадей — Ваньку Фролыча на козлы. В пристяжные можно бы Зорьку...

А я стал продолжать:

— А в лугах — теплынь, тишина; только скрипит-скрипит колесо и дерг-дерг-дерг. И поднимается медленно багровая и сырая луна!..

Однако разговор этот мы кончили тем, что стали взаимно извиняться друг перед другом; сказанное нарекли чепухой, глупостью и признались, что редко пускаемся в такие жалостные воспоминания.

Но все-таки, почему бы и не вспоминать?

Вот, например, тот город, — наш город: над рекой на горе — соборный шпиль глядится, торчит издалека, если ехать лугами. Город же неважный — губернский средней руки; в страховочных расценках он, кажется, отнесен к третьему разряду, а может, и к четвертому.

Крестов цепочки чуть видны,
Цвет куполов пасхально-синий,
Цветут плодовые сады
В лазури — блески голубиные...

Стихи, понятно, глупые: и лазурь, и непременно синие купола, — но вам памятно, когда писались эти стихи? Лежали чужие снега, дымили сибирские морозы, солнечно металось воскресенье. Вырвал час, свободный от воинских забав, — и вот я начал слагать вирши, занялся продолжением «Поэмы о трех мушкетерах».

Да, в эти дни мая, в Николин день, в нашем городе встречали Николая Чудотворца: сколько толпилось косынок и газовых шарфиков, и чернели старушечьи монашеские платки, и шляпки маячили, и шли вольнопожарные строем за собственным медным оркестром, и в отряде лазальщиков выделялось чернокожее лицо знаменитого Трофимова! А в городе звонили-гудели колокола.

Это происходило под вечер, когда пыль уже не освещена солнцем, булыжники кажутся подметенными, и подтрунивают по ним, легко позвякивая, разъезжают-колесят перед ходом, перед верховыми стражниками, медлительные велосипедисты... Один из них — вы. Правда, я не видал вас в таком положении, но это потому, что, порядочный лентяй, я не особенно часто принимал участие в этих парадировках и, бродяга, не всегда находился в этом городе в этот день.

Да шутка ли — расцветали в те дни пронзительные ландыши и пучки их навязывали прохожим чумазы оборвыши. Играли в саду и в парке оркестры; в архиерейской Крестовой церкви звонили тонко колокола; в губерна-

торском доме были раскрыты длинные окна между колонн; в аптеках были раскрыты настежь двери, показывая особенную чистоту, вея особенным аптечным запахом. Ну а где, интересно, теперь тот Борис Александрович в пропахшей махоркой поддевочке, добродушно пропивший тисненного золотом Шекспира, которого ему поручили доставить куда-то. Я потому вспомнил эту трогательную личность, что вы не однажды предсказывали мне будущее в образе Бориса Александровича.

Итак, в тех местах служат теперь молебны Николаю Угоднику — от ворот к воротам передвигается красное знамя святителя. Мальчишка первым вносит медный фонарь, густо закапанный воском. Мужчина с кадыком и дикими глазами входит в портупее цвета жестяного свечного ящика. Хитроглазая черненькая старушка приносит кадило. И еще входят, и еще. Это все особый народ, пропахший прохладно, что церковная утварь, воском и ладаном. Мужчины с утра без шапок, женщины — в черных платочках... А икону полагается принимать у ворот, у начала усадьбы: крестясь, следует приложиться, поцеловать широкое тусклое стекло, за которым глядится суздальский большой лик над позолоченными ризами; приложившись, подлезть под икону, — и тогда уже сменять носильщика или носильщицу; а сзади еще крестятся, подлезают, задерживают... Святителя приносят на стол в передний угол, на чистую скатерть; тут же миска с водой — на края миски налепляются молебные свечи. И вот входит в своем потускневшем парчовом мешке священник в фиолетовой скуфье, держа у сердца позолоченный неизменный крест, — а за ним и дьякон с золотистым ораером на плече, с необыкновенно глянцевыми волосами и дьяконским непременно кашлем. И поют молебен, а в открытые окна майская свежесть врывает приходский трезвон.

Все это отменно хорошо. Но памятен, конечно, вам и вот такой случай — в тех же родных местах...

Некий молодой человек был ранен под Бирском в плечо и следовал на подводе в тыл, а приехал почему-то в тыл неприятельский. Там его встретили вполне сурово: поставили к плетню, пятеро взяли перед ним наизготовку и — отставили расстрел. Однако сменили у него шинель на рваную до отказа, разули хорошие валенки и погнали пешим этапом в Мензелинск. В этом пути нашему герою не однажды довелось испытать издевку и побои, и снова посылали его становиться к плетню, — глядел он безумными глазами на дула, направленные в него. А в Мензелинске сидел он в тюрьме, в одиночке. Все менее и менее хватало у него рассудка проводить дни и ночи в трезвом спокойствии. Туманилось его сознание. Придумал он слова к шопеновскому маршу: «О, ты, расстрелянный герой-белогвардеец» — и, задыхаясь рыданием, лежа в каземате, оплакивал, умилялся своей молодой смерти... А через полтора месяца его опять погнали — обратно, в город, который был родным, где проживала его мать, его близкие и дорогие. Там его опять укрыли в одиночку. Рана его закрылась еще в Мензелинске, крепкое здоровье помогало ему нести тяготы изнурения голодом и холодом и всякие иные муки.

А время шло к весне — стоял март. Правда, выпадали бураны, скрипели поздние морозы; но все же порой в фортку тянуло остро, трогало прох-

ладой сердце, заволакивало тоской глаза. А в потемках постылой камеры узику мнилось одно и то же: снежное поле под белым бурным небом и точки, проклятые точки неприятельских цепей; они двигались на горизонте, они залегали и появлялись, близились!.. А то еще приходил некто страшный, осязаемый лишь голосом и начинал разговор о Боге, о смысле жизни. И беседа продолжалась каждый раз до солдатского оклика в волчок, в окошечко двери: «Эй, слышишь! Чего разговариваешь?» — и наваждение пропадало.

А еще было видно в окошко, если встать на стол, — видны были крыши и посоленные морозом сады, и дымились городские трубы: как и в прежние зимы, отапливалась чья-то домашняя жизнь. Ах, хорошо сидеть дома против жарко стреляющей печки, завораживаться, не мигая, знойным течением пламени!..

Но случилось, наконец, чудо: возвращение свободы. Это произошло столь легко и вместе с тем столь нелепо, что обрадовало лишь позже.

Выпущенный однажды на прогулку, он, военнопленный, осмелел от пьяного воздуха оттепели, пошел один огибать тюремные корпуса и узкими дворами вышел к воротам. Там стоял часовой. Но какая разница была между ними? То, что арестант был без винтовки, без подсумок, был подпоясан веревкой и обут в драные валенки, из которых усами торчала солома? Э, все равно! И приподняла отчаянность плечи, поправила папаху на охмелевшей голове и шагнула за ворота, мимо часового, и дальше по снежной улице — в студеной город, который некогда истовым звоном встречал икону Николая Чудотворца!..

Домой он пришел уже по темноте. Кто не плакал, не умилялся на его подвижнический облик, запущенную бороду, худобу, несвязанную торопливость слов? Разоблачился он от вшивой своей амуниции, вымылся, надел приятно-свежее исподнее и забытые с лета, еще студенческие, галифе, в которых садился в английское седло на Зорьку. А затем его отправили прятаться, отправили в малознакомый дом, и героическим спутником ему и прямым спасителем его в дальнейшем явилась некая сероглазая... ну, имя мы опустим. Но вспомним все же еще один случай.

Помните, как в дом в сумерках явилась партия вооруженных, и сероглазая вытолкнула растерянного героя в какую-то боковушу, облачила его торопливо, украсила красной лентой и выпроводила, ошалевшего, во двор, по которому он и зашагал, стараясь прикинуться разухабистым коммунарком, прошел мимо молодцов с винтовками — и еще раз избежал смертельной опасности?

Да, все это прошло. Все это дым, пахнувший горько и туманящий глаза.

Однако дым глаза на выест. А от слез глаза иной раз проясняются. Но только... не следует особенно прибегать к этому очистительному средству, да...

Будем суровы к себе. Будем мужчинами.

И запомним, прочтем про себя стихи того, кто уже не живет, но кто до конца был мужем:

И если женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим на свете,

Скажет: «Я не люблю вас», —
Я учу их, как нужно улыбаться.
И уйти, и не возвращаться больше.

22 мая 1922 г. Океанская.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО СЕРДЦА



ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
СЕРДЦА

Мы прожили здесь два месяца — я с папой, а Соня с Татьянкой. Однажды — это было, кажется, в субботу, — Соня пришла к нам и сказала, что встретила на улице Леву Ручьева. Их дивизион пришел сюда на формирование и Лева обещал зайти к нам. Земляк... Мне сразу вспомнились все наши вечеринки, пикники в лугах, рубановские тройки, фанты, — ведь все же Лева был когда-то ко мне равнодушен.

Он пришел к нам в воскресенье. Я что-то делала, мастерила сама воротничок, когда хозяйка сказала, что нас спрашивают. Я вышла и увидела Леву. Он был в полушубке с шашкой поверх, в очках, улыбался, скалил свои хорошие зубы. Мы поцеловались, вернее, — я его поцеловала, отчего он все-таки смутился, но я вовсе не хотела смущать его — просто прижала к груди всех дорогих и далеких... За руку я повела его за собой к нам в комнату.

— Тише, — сказала я вполголоса, запирая за нами дверь, — за ширмой — папа...

Он положил на стул папаху и удивительно мохнатые рукавицы, стал расстегивать португую, а я стала расстегивать крючки полушубка.

— Ну, как живете, Natalie? — спросил он, разоблачаясь, называя меня почему-то этим французским именем.

— Да ничего. Служим. Папа прихварывает, стареет... Голубчик, наверное, вы не прочь закурить? Но вот в чем дело — мы с папой обедаем в гарнизонном собрании и...

— Вот пустяки, — ответил он, прохаживаясь на своих длинных ногах, протирая очки. — Я только что обедал, так что не извольте беспокоиться.

— Ну, садитесь, — усадила я его на свой диван и села с ногами в угол. — Ну, рассказывайте, кто есть из наших тут, что поделывали это время?

Он, осваиваясь, осматриваясь, уселся глубже, прислонился к подушкам и начал рассказывать.

Не скажу, чтобы я по-прежнему была равнодушна к Леве, голос его меня не взволновал; нет, я просто обрадовалась, как новому свидетелю прошлого, которое последнее время казалось подчас только старинной сказкой: Лева был живым доказательством того, что вправду было когда-то солнечное веселое время, запахи лугов, букеты сирени, горелки перед террасой... Что ж, мы любим свое прошлое, и разве это грешно? Пусть оно мертво, но и мертвые дороги нам, как ты, моя бабуся...

Лева пришел к нам через три дня, и мы вместе отправились к Соне. Пили чай, потом Соня со своей неизменной белой козой на плечах кроила; около стола же сидел Лева, рассматривая фотографии, а мы с Татьянкой сели на кровать грызть орехи.

— Узнаете, Лева? — спрашивала Соня.

— Да, что-то знакомое... — ответил неуверенно Лева.

— Да ведь это Наташа с сестрой! Правда, она не была прежде такой задумчивой?

Я смотрю на их тени, на длинный Левин профиль, на сетчатую тень отблеска очков, на лохматую мальчишечью голову Сони над высокими, с козой, плечами. Танюша прижимается ко мне, вздыхая. Лева, покашливая, перебирает фотографии...

Он пришел к нам и третий и четвертый раз; иногда они садились с папой в безик, я грела на спиртовке чай, посвистывая штопала перчатки, пришивала пуговицы к папиным рубашкам... Стояли все время морозы. Только однажды мы собрались в кино. В один вечер у Сони, Лева стал нам показывать забавные карикатуры из дивизионной жизни; я тотчас узнала многих, мне не знакомых, но замеченных мною здесь на улицах, в гарнизонном собрании, у нас в управлении.

— Кто это рисовал? — спросила Соня.

— Ремер. Вы, наверное, знаете такого, Андрея Ремера?

— Он нашинский? — спросила я.

— Да, пожалуй. Учился, правда, давно, в первой гимназии, потом уехал в Питер в корпус, учился там еще в какой-то гимназии, а потом в университете.

— Ну, едва ли такого упомнишь, — ответила Соня, — ведь мы сами из бродячих. А он что — славный мальчик?

— Интересный парень, — ответил Лева, — то есть не физически интересен, а по характеру... хотя, и наружность у него не из уродских.

— Приведите-ка его как-нибудь к нам, — решила почему-то Соня, и Лева обещал.

Прошли еще полторы недели, морозы продолжались; Лева был всего два раза у Сони, в последний раз мы встретились там, он принес деньги и просил нас сделать ему пельменей. Спирт мы могли достать через Каминского и получилась бы настоящая вечерка.

— Я приведу Ремера, — сказал Лева.

— Это художника-то? — спросила Соня.

— Вот именно он самый. Споем, спляшем, надо веселиться, черт возьми, — сказал Лева, поднимаясь во весь свой высокий рост. — А то пылью покроемся.

Наши пельмени почему-то все откладывались. Мы с Соней готовились к балу в городском театре, к благотворительному базару. Соня шила мне черное шелковое платье. В субботу, — было очень морозно, звездно, — я пришла к шести к Соне и, войдя, не раздевшись, к ней в комнату, увидела Леву за столом, а около печки незнакомого мне офицера.

— А вот и Natalie, — отозвалась Соня несколько не своим голосом, как всегда в тех случаях, когда она хочет не ударить лицом в грязь,

наклоняясь над моим платьем на столе.

Лева поцеловал мне руку, он был в полушубке, как и его приятель.

— Разрешите представить вам, — сказал Лева, — художник Ремер.

Я прошла через комнату, он шагнул мне навстречу, и я увидела вблизи его бледное, как будто грустное лицо, гладко причесанные волосы. Он склонился, но руки мне не поцеловал.

— Почему вы не раздеваетесь? — спросила я, сразу вспоминая это лицо, этого Ремера, там, в нашем городе, в последнее лето, его серый костюм и клетчатую иностранную каскетку, походку с одной рукой в кармане; только глаза его были тогда пронзительнее...

— Ах, Наташа, уговори хоть ты раздеться гостей!

— Ну сейчас... — ответила я негромко и в перчатках стала расставлять портупю на груди. Я знала, что портупю не тут расстегивается, что ему придется все равно расстегивать пояс, но я сообразила это в первое мгновение, желая просто прикоснуться к нему, чувствуя, что все-таки он смущен моей смелостью. Он слабо улыбнулся.

— Вы очень добры, — сказал он, — но это немножко не так. Если позволите...

Но я сама уже расстегнула его пояс, и он начал отстегивать крючки. Я помогла стянуть ему с плеч полушубок — вернее, придержала глаза на его улыбке, тайно радуясь его заметной неловкости. Раздевшись, он опять встал к печи — и шагнул ко мне, но поздно: Лева принял от меня шубу. Я оправила галстук и волосы, такие же лохматые, как и у Сони, чувствуя, что он рассматривает и одобряет мой английский стиль, что он тоже помнит наши встречавшиеся полтора года назад на улице взгляды — мой внимательный, его пытливый, а иногда рассеянный; что же, ведь он мне снился несколько раз со своими особенностями, еще более странный, загадочный в томительных снах, — кажется, умирал за меня, — и вот я могу с ним воочию разговаривать. Но я стала около Сони обсуждать внимательно мелочи платья — пусть он сам разговорится, если он этого хочет. Немного погодя меня поставили в платье на стол, Соня зажгла еще свечу.

— Мамзель Пакэн, — отозвался он от своей печи, не то насмешливо, не то просто добродушно, но Соня и его позвала для совета относительно длины и правильности платья. Я настаивала, не возвышая голоса, что платье должно быть коротким, короче, чем предполагает Соня, поддерживаемая Левой. Он склонил голову, молчал, два раза коснулся пальцами подола.

— Мне кажется, — сказал он, улыбнувшись, — короче вашего и длиннее, чем вы думаете.

Посмотрел на меня и глаза блеснули вишневым кроличьим отливом. Я покачала головой; потом я стояла на полу и они двое возились около меня на коленях, опять подкалывая юбку — и я улыбнулась Соне. Лева во второй раз помог взойти на стол, а он, Ремер, начал смот-



реть фотографии и курил. Я заметила, когда он обернулся на зов Сони, ту рассеянность в его глазах, как и полтора года назад, может, острее... Что же, возможно, любовь, какая-нибудь путанная; я отчасти похожу на даму его сердца.

— До свиданья, — сказала я, протягивая ему руку со стола, и он опять не поцеловал ее, поцеловал Соне, но заметив, конечно, что Лева целует руки нам обеим.

— Только не будьте таким скучным в следующий раз, — сказала я ему на прощанье.

— Постараюсь, — ответил он, склоняя гладко причесанную голову>.

Еще три дня этих адских морозов, — и ангина. Никогда еще наша голубая комната не казалась мне такой печальной, и тягостным — уединением с папиной старостью. Я пробовала развлекаться пасьянсами и опять мешала карты, вытирала фотографии, задумала какое-то чудовищное панно. На обеденное время, оставшись без папы одна, я почему-то принималась гадать на бубнового короля, — это началось так случайно; бубновому королю выходили деньги, хлопоты в казенном доме, и все время ложилась настойчиво на его сердце червонная дама. Но могла ли я быть этой дамой?..

Все эти дни я боялась, что налеты не исчезнут к нашему концерту. Поручик Лухманов прислал два напоминания, — сам он это время был в урочище. Ни разу, как назло, не зашел Лева.

И вот — этот день. Я еще в постели потянулась за зеркальцем, обзрела в него испытующе, — краснота была очень слабой; глотать не больно, — чудно! — я стала потягиваться.

В семь часов вечера я пошла к Соне — одеваться в театр.

Было очень звездно, безветренно — мне показалось, что много теплее, чем в последний мой выход. Соню я застала уже одетой, с густо напудренным носом и подбородком. Мы обе, должно быть, сильно волновались в этот вечер, предчувствуя, и с первых же слов начали ссориться. Я теперь не сумела бы ответить, о чем мы пикировались — в общем, наконец я прослезилась и заявила, что ни в какой концерт я не пойду. В это время в двери послышался осторожный стук и Левин голос.

Мы вышли втроем. Я увидела луну, которая показалась мне такой светлой, голубой снег, запах резеды почему-то, и мне захотелось петь. В театре, там, где кассы, прохаживались какие-то застенчивые офицеры в полушубках, отогревались извозчики, кто-то покупал билеты... Мы разделись, платки в рукавах повисли вместе с шубами на вешалке. Левин полушубок был приметен прорехой...

Что же дальше? Я всегда любила эту говорливую сумятицу, замедленное беспокойство, блеск глаз, которые у всех кажутся острыми, щеголеватость, прически, духи... Мы прошли в нашу ложу и уселись с Соней на передние стулья. Мне казалось, что я очень интересна, но воодушевление этим как-то сразу колебалось, и мне делалось тоскливо-туманно. Но и эта тоска была радостна... Вот я почувствовала и напряженно оглянулась, — Ремер склонился перед Соней и целовал ей руку; потом он здоровался со мной — я обратила почему-то внимание на казачий пояс на его коричневой гимнастерке.

— А почему нет Владимира Григорьевича? — спросила я.

— Не могу вам этого объяснить, — ответил он, улыбнувшись, пожимая плечом.

— Вы не знаете Лухманова? — спросила Соня, поправляя мельком волосы.

— Нет, не знаю, — ответил он.

— Это наш сегодняшний спутник, — стала объяснять Соня. — Но, очевидно, его задержали в батарее... Но садитесь, Андрей, — это ничего, что я зову вас просто Андреем?

— Ради Бога, — ответил он медленно.

Мне все первое действие, — я никак не могла вникнуть, что там началось, — казалось, что вечер этот будет таким же монотонным, как дома. Но в антракт Ремер пошел со мной по коридору.

— Вам не кажется, — спросил он, мягко ступая, звякая шпорами, — что мы все-таки помним друг друга?

Я заметила свое движение бровями, и ответила без усилия:

— Да, я помню вас.

— Странное дело, вы мне казались француженкой, или, вернее, — немкой, интернированной из столиц. А вы просто оказываетесь русской барышней, да и притом родственницей моих родственников!

— Значит, Лева вам родственник? — спросила я, оглядываясь, встречая его внимательный взгляд, замечая свежую царапину на подбородке.

— В том-то и дело, что родственник, и мы, — не правда ли? — легко могли бы познакомиться. Ведь у нас все-таки нашлось бы о чем поговорить?

— Я люблю охотиться, — ответила я, желая почему-то как можно скорей заговорить с ним просто. — Я и Ольга Медзаблоцкая, кузина Левы, очень часто ездили в Слепнево...

— Постойте, постойте, — заговорил он и даже коснулся моей руки, — но вы ли были это?.. Да, мы приехали с Всеволодом, — вы его знаете? — очень рано пошли купаться и нам пришлось ждать; потом из купален вышли и побежали по левой лестнице к роще две барышни — не вы ли это были?

Антракт кончился, а мы все ходили и никак не могли кончить наших воспоминаний. Мне стало казаться, что это опустевшее фойе с

мягкими скамьями вдоль белых стен, с матовыми бра, — проходная перед голубой гостиной там, у нас в собрании, дома; что за окнами — ночь июльской луны, что мы, не ложась спать, а только переодевшись, поедем на восходе с Ремером на нашей тройке за реку, в луга, в Слепнево...

И больше мы не встречались. Я как-то спросила Леву, где его художник, но он мне ничего не ответил, начав восторгаться Сониными акварелями. Только месяц спустя я узнала некоторые причины, сначала не поняв их, его отсутствия. Как-то, заговорив случайно с Лухмановым о Ремере, я увидела в ответе лухмановскую лукавую улыбку.

— Почему? — спросил он. — А потому, что у него закрылся левый глаз...

— Ну, так что же? — недоумевала я.

— Да ничего! Но он находит, по-видимому, что это ему мало идет, а посему лег в госпиталь.

Мне стало грустно и неловко, хотя я еще не поняла причины этого внезапно опущенного века над добрым, внимательным глазом, — и я отошла от Лухманова.

ЧУДЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Четырнадцатилетним, Сергей Шкляр увидел во сне, что он, — взрослый, с усами, и участвует в хмельном побоище, ломает мебель, посуду, выбегает на улицу вблизи какого-то вокзала, и тут человек кавказского обличья поражает его бутылкой в лоб!..

Сергей проснулся.

Апрельское утро было еще розово над Москвой, в комнатах, — в квартире жили четвертые сутки, — было сонно. Новое московское утро, память переезда из Харькова, временная свобода от гимназии — все это поднялось счастливой волной, прозрачно опрокинуло сон.

Жизнь Сергея Шкляра складывалась очень просто. Отец его был членом судебной палаты, он был единственным сыном этого добродушного юриста. После двух гимназий — харьковской и московской — Сергей поступил на юридический московского университета. Это было в четырнадцатом году, и в декабре Сергей уже поехал в Тверь — в кавалерийское училище...

Все эти обязанности Сергей выполнял с готовностью, но без особого одушевления: переводить Тита Ливия или подзубривать экстерьер, дежурить в столовке на Воздвиженке или обучать смену новобранцев на полковом манеже в Борисоглебске, — почему бы не так? Но не случись войны или закройся, скажем, все юридические факультеты, Сергей, наверное, принял бы участие в конкурсе путейского института.

Все сказанное изложено отнюдь не с целью, чтобы читатель мог решить: вот непутевый юноша. Ибо это вовсе не так: разве мало между нами людей, весьма похожих на Сергея?

Итак, летом восемнадцатого года демобилизованный поручик кавалерии Шкляр находился за Волгой под Самарой в армии Комуча, комитета членов учредительного собрания: попал он сюда из Пензенской губернии вместе с двоюродным братом, которого убили под Сызранью.

Война за Волгой была отлична от войны с Германией. Но и это времяпровождение надлежало вести исправно — более или менее. А впрочем, размышлять над всем этим поручик Шкляр нашелся много позже.

В сентябре он был ранен в ноги и была убита его чалая тонконогая кобыла Леда, реквизированная под Симбирском. В конце ноября он получил отпуск. Но ехать было некуда: ближайшие родные места остались за Волгой. Четыре дня провел он в номере старосветской уфимской гостиницы, развлекаясь — армейской шменкой, выигрывая и расплачиваясь вексельными филипповками, опять придумывал перед сном, куда бы выправить литер, пока не познакомился за обедом с неким поручиком автомобильных войск Першиным: поручик этот весьма быстро уговорил ехать на одну из станций, погостить в эшелоне, поохотиться на куропаток («Хорошая штука — тушеные с картошкой, со сметанкой... Важно под стопку проходят!»).

Жизнь в эшелоне Шкляру поглянулась: тишина, тепло, сыто и да-

же пьяно в меру. Каждое утро штабс-капитан Диваев, проснувшись, взглянув в окно, еще раз определял, что окрестность воистину альпийская, и, растерев на руках шерстяные чулки, начинал одеваться, сразу же определял себя на кухню — поджаривать что-либо на завтрак, например, вчерашние пельмени, заказывались которые едва ли не тысячами и почти каждый день Аграфене Федоровне, жене станционного весовщика. Завтракали, разумеется, со спиртом, а спирт был трех сортов: ректификат, сырец и сырец с эфиром. После завтрака шли на охоту, если позволяла погода. Обедали в час, в два, опять выпивали из манерочной пробки и, сытые, протягивались отдохнуть. А по вечерам — винт, преферанс, шменка, разговоры о германской войне и о настоящей...

Так прошло почти две недели. Неожиданно получился приказ-депеша о продвижении части грузовых машин в Бирск. Поручик Шкляр, — а это происходило за обедом, — тотчас припомнил, что и он шофер, черт возьми, хоть и холодный, но учился на форде у тетки Надежды, а на фронте однажды двух генералов возил!

— Ну, так едешь? — спросил Диваев.

— Определенно, дорогой капитан...

Выехали на следующий день после обеда. Поручик Шкляр принял в свое ведение полутоннажный уайт и в компании помощника, шофера Ларсена, эстонца, отбыл со станции на заснеженные дороги последним.

Погода была мягкая, мороз не выше десяти градусов и безветренно. На пятой, на шестой версте начались некоторые мытарства: не оказалось цепей, колеса буксовали — рыхлый снег летел из-под них веселым фонтаном, а поручик Шкляр с кавалерийским остроумием поминал общепринятую мать.

Путь замедлился, а время склонялось к сумеркам... И вдруг — запахом, густым паром — открылось, что протекает радиатор. Понадобилось в него накладывать снег, заодно пришлось соорудить канатные обвязки на задние колеса. Уже мерцали звезды, в небе стало дымно, всходили снеговые облака с пасмурных горизонтов, мотор был раскрыт — пахучая гарь веяла навстречу теплом. Уже совсем в темноте открылись рассыпанные внизу огни села, пели под горой в темной улице самарские артиллеристы: «Ах, шарабан мой...»

В селе Шкляр прожил два дня. Большая часть грузовиков оказалась без цепей, — начали в местной кузнице ковать скобы на колеса. Шкляр в своем коротеньком полушубке и в лисьей шапке с оборванным ухом ходил в кузницу, курил с шоферами махорку, рассказывал анекдоты и бил вполне хорошо за молотобойца... Но спирта не было и за обедом.

Может быть, что по этой причине поручик Шкляр решил на третий день ехать обратно, воспользовавшись местом на облучке фиата, который потянули буксиром четыре крестьянских коня.

В поле было беспокойно — задувало, крутил снежок, начиналась, видимо, метель. Сосед у Шкляра был шофер-татарин, он угрюмо сидел за рулем и разговора не поддерживал.

«Однако, погодка, Маттиэ Батистини», — думал Шкляр, подвигаясь, подсовывая длинные полы шинели, изрядно легкой от времени. Вообще, поручик был легко одет: холодное белье, полушубок выше колен и в боку распоровшиеся перчатки, — рукавицы он забыл в печурке... Ему хотелось курить — но кисет и трубка были в кармане френча. В лицо дуло, студило ниже пояса и в рукава; стало покалывать пальцы ног.

«Сидеть бы в избе, — думал Шкляр, щурясь от метели, надуваясь и мигая, — что-то поделывает Диваев? Определенно, устроил какой-нибудь “шулюм” и выпивает... Да, кабаре...»

Он мерзнул и старался меньше двигаться. Татарин за рулем сидел совсем темный, парни подсакивали на конях уже неразборчиво — последний, разве...

И вот в этой дреме, в неподвижной, стынувшей злобе, — на кого, почему? — Шкляру явилось прекрасное. Да, скучающий по водке уланский поручик Шкляр, замерзая на облучке буксирного грузовика на метельной дороге по отрогам Урала, — почувствовал, что он блаженно слепнет — так невыразимо засияло виденье: в небе, которое было черное, в небе встала женщина в одеждах желтых и лучезарных; видны были пальцы ее босых ног; она развела руки; рукава откинулись в широком благословении, а лицо, светлее платья, широкоглазое, особенное линией бровей, — лицо улыбалось...

Очнулся поручик от падения с облучка на снег на темном товарном дворе, куда уже привезен был грузовик, и шофер настойчиво разбудил офицера.

Постылое возвращение на землю! Шатаясь, до ломоты испытывая, как он промерз, Шкляр с помощью безмолвного татарина добрался до вагона. Печи отопления просвечивали алым жаром. Диваев лежал в купе поверх одеяла, но в белье, благодумствовал.

— Ну, здравствуйте, — вымолвил пьяным голосом Шкляр и ударился на свой диван, — каюк!..

— Что такое? — встревоженно облокотился Диваев.

— Замерз, как... змея!..

Но побелели лишь ноги; но и они отошли.

А все же надлежало подумать, как получше использовать до конца отпуск — Шкляр выехал на восток, предполагая, что в Екатеринбург. В Челябинске, в буфете, поедая под шум вокзального полдня котлеты марешаль, он увидел, что штаб-ротмистр в коричневой бекеше — его однокорытник Отлетаев, — и они расцеловались тут же, у стола.

С Отлетаевым Шкляр выехал в Омск. В Омске он прожил до конца свой отпуск и остался далее, благодаря отлетаевскому покровительству. Жить было вполне хорошо... И в Омске, на Атамановском ху-

торе, за сотню шагов от вокзала, в ресторанчике под странной вывеской «Встреча друзей» поручик Шкляр одним веселым вечером попал в переделку и был привезен в госпиталь в беспмятстве, оглушенный бутылочным ударом в голову...

Да, жизнь чудесна. И чудеса зачастую выполняются безо всяких предзнаменований: часто принимаем мы чудо как должное явление.

И если поручик Шкляр поправился от своей раны, в этом никто не увидел чуда; и если поручик Шкляр не погиб от сыпняка под Канском, в этом еще раз никто не увидел чуда, — ни один из его друзей, с которым он пировал, после полуторалетней разлуки, в Харбине в ресторане «Кишинев».

И было ли чудо в том, что в вагоне № 78 трамвайного маршрута г. Сан-Франциско студент политехникума и рабочий завода телефонных аппаратов С. Шкляр встретил девушку, пронзительно схожую с той, которая мнилась замерзающему сознанию на горной дороге Западного Урала?

Вечер американского обширного города был рыж. За стеклами вагона мелькали, прядали, разминались, облетали тени и изображения — лица, рекламы, автомобильные лакированные плоскости, — девушка в сером костюме, в коричневых носатых ботинках, незнакомка с удивительным лицом, избегая взгляда, но не смущаясь, подняв с колен, понюхала бутонерку гиацинтов.

ВСТРЕЧА С БЛОКОМ

Москва, столичная, уличная, пела наступление вечера в августе и торопилась петь — и подпевало глухо в зеленом небе, где много выше, чем пыль, рождались звезды; и им подражая, зажигались вокруг вокзала округлые луны фонарей...

Да, нечто весеннее открылось мне в этот вечер августа на вечернем Курском вокзале! Вид севастопольского поезда — хмель дорожных предвкушений... Совсем майская луна одымила трепетно и дерзко всех этих с шорохом и в разговорах вблизи вагонов; а вагоны сквозили окнами, показывали заманчиво верхние диваны, веяли дорожными сквозняками. И опять лакировка коридорных фанер, новизна жилья, пробное шипение тормозов в открытое окно...

Повторяю, голова моя кружилась. Как вдруг я был обязан носильщику, ошастливленный вышел в коридор. И опять лакировка, как стеклянный шар гипнотизеру.

— Идет, идет, — замирающе проговорила барышня у соседних дверей, — и мне почудился театр, запах кулис и гимназистка, у которой сегодня косы не опущены, а подняты на голову, как волосая корона.

Увидел я, что с площадки в коридор заходит женщина гибкая, сероглазая, опустившая низко к бровям кибитку шляпы, откуда глаза мерцают, как драгоценные камни. А рот ее, губы подрисованные были торжественны своим верхним изгибом, были, как герб. Сквозь запах и шорох, очарованный, успел я прочесть надпись на белой книге, которую прижимали к невысокой, слабой груди тонкие пальцы: «Стихи о Прекрасной Даме».

«Ах, вот оно что», — вскричал во мне испуг, и стал я видеть сквозь кружево сердцебиения, что идет вслед этой прекрасной даме человек довольно высокого роста, актерски легкий, медленный в манерах. Он снял шляпу и шел с открытой головой, — и я загляделся на эту голову. Да, шел на меня невиданный слепец, слепая голова греческого бюста, лицо очень бледное, без чувства или почти надменное полными губами и удлиненным подбородком. А волосы этого лица были рыжи — сияющий венец аполлонов!.. И, надвинувшись, прозрели широкие глаза: как закопченное стекло в затмение, отразил мне темный взгляд влажно и глубоко — вид далеких снегов.

Я рванулся к соседке у двери.

— Это Блок? — спросил я очень живо.

Она не поняла и изумилась. Я повторил еще раз о Александре Блоке — ведь это он прошел? Она пожала плечами — она видела Алчевского, тенора Алчевского.

— Но у него рыжие волосы, — возражал я.

— Рыжие? Почему рыжие? — изумлялась она.

— Тот, который прошел с дамой?..

— Но Алчевский был без дамы, — ответила барышня уже сердито.

Я бросился по вагону: Блока не было ни в одном купе.

Я метнулся дальше — через площадку. Блока не было. Его не было нигде до конца поезда, до багажного вагона, — я остановился перед темной стеной.

Уже мотало ходом. Уже несло искры поверх, отставали назад мазутные

лужи, ряд вагонов, усиливая звук, помчал рядом, оторвался, и другие помчались...

«Но почему мне причудился Блок? А может, он был, но слез провожать кого-нибудь?» — думал я, смотрел сквозь кружение огненных искр на глубокие холодные звезды...

А может быть, этого ничего не было.

12 марта 1922 г. Океанская.

**ПИСЬМО, КОТОРОЕ Я
НЕ ОТПРАВИЛ**

...А может быть, у вас сохранилось хоть одно из тех глупых ямбических писем, которые я писал вам из Москвы, — и вы, опять, лежа на своем самосоне, одинокий, в очках, опять перечитываете мальчишеские строчки, и вот улыбаетесь, рассеянно сдвинув очки на лоб, глядя на окно. А за окном пушистые белые снега...

Наши споры. Знаете, жизнь моя теперешняя достаточно бестолкова, людна и людьми совсем подчас ненужными мне, но все-таки, все же мне удастся задуматься о наших старинных спорах. Помните: самовар шипит, парит, липовый мед, городская халва, ватрушечки, заварные крендели, ваше «без меры в длину» тело на черной, отсвечивающей старой коже самосона, опять покусыванье ногтей, взгляд сквозь стекла и без очков, привставанье, этакий жест, смешок; а потом в (чьей? прадедовской?) «охотничьей» шубе, — на морозе, на дивном, искристом в темноте морозе вы покашливаете октавой, и напев: «В старину живали деды...»

Может быть, у вас сохранился Патер с той дикой надписью, и вы, подправив под бок Верочкину подушку, располагаетесь, раскрываете на «Винкельмане»... Но что же вы курите? Морковную ботву, или что похлеще? Но тогда...

Весна, апрельское солнце. Я слышу в комнатах голос матери и еще густой голос — ваш. Вот дверь скрипит, вы с шляпой на отлете, блестя очками, никогда не загорающий, бесподобно высокий Петрович, вы переступаете журавлем ко мне. Садимся. Марс кладет коричневую морду вам на колено и пачкает слюнявыми брылами пальто вам. О новой книжке «Русской мысли», о вкрадчивой Анне Ахматовой, об Анне Мар, этой польке с ее любовями к запахам и женственным горожанам. Но, — «*de mortuis aut bene*», — ее нет, дорогой де Виньи. А жила она в «Мадрид и Лувр», — на Тверской...

Да... Иногда мы заходим, вваливаемся в «конторку» при москательном холодном магазине — в гости к Эн Большому. Мы курим так, что дымные волокна уже не расплываются, болтаем всяческую чушь, мешаем Ниночке считать сдачу. Вам нравится ее наполеоновский профиль, — мне — протяжность, застенчивое лукавство... Да, и если бы, дорогой Петрович, мы были бы более самостоятельны, мы выкрали бы Ниночку из ее купеческого монастыря и — «в Москву, в Москву», где Ниночка станет Ниной Дузе.

А Дубльве, Наташка, наша *double maitresse*, как вы говорили. Вы все еще сердитесь, что она так и не прислала вам свою парижскую фотографию, но помните номер дома на rue Lhomond, старый-старый адрес? А знаете, я карточку потерял, потерял вместе со знаменитым зеленым бумажником где-то в грязном непотребном месте... В общем — все потерял; и остался на память завет старика Горация: *Nil admirari*.

Дорогой мой, единственный де Виньи! Я бы написал вам две тетради — как влюбленный. А как бы хотел я — поговорить с вами! Но...

Почему вам не надумалось приехать сюда, на взморье, к китайцам — в семнадцатом году, хотя бы? Тогда бы я не опоздал, предлагая Тому, Кто держит нашу судьбу, память о своих кавалерийских блужданиях, все эти случайные встречи славных женщин, все свои случайные удачи в хлебе насущном и вот эту правую руку за то, чтобы не было у вас вашего воспаления селезеночных путей, не было бы зловещей худобы — чтобы в восемнадцатом году не могли вы («едва дышу, лежу, как полено») думать о ладане...

СЧАСТЬЕ

Повесть

Часть первая

...Прошло еще некоторое время. Уже был октябрь. Листопад озолотился, опали листья и уже подмелись; и стало еще просторнее. Наступили туманы. Падающие в высоком удушении голоса сирен на Неве по вечерам доносились ясно. Троицкий мост каждый вечер завлекал своими фонарными ландышами в темноту, в городское раздолье, к газовым линиям иллюминированных длинно набережных.

Евгений сидел в своей комнате, читал или играл с Филиппом Сергеевичем в шахматы в темноватом кабинете с окнами на две стороны — и сполохи трамваев отражались на лепном потолке; проходил лосевыми подошвами Игнатий, запасный флота, камердинер и лаборант домашнего физического кабинета Филиппа Сергеевича; цокая по паркету, проходил своей фоксовой тропотой «Немчик», вывезенный генералом из Цаны; а потом приходила, оступаясь ревматически, Людмила Степановна и скликала к ужину.

В Казанскую, получивши письмо от матери, которая писала, что все-таки заниматься на шоферских курсах не умно, лучше ехать домой, можно заниматься и здесь, можно даже в деревне найти хороших учителей, — загрузив по деревенской осени, по матери и опять не в силах покинуть Петербург, Евгений после завтрака спустился на Каменноостровский и пошел на острова. У него было намерение пройти на Голодай-остров, но встреча и разминка с двумя барышнями в черном, их глаза и голоса напомнили ему о далекой французенке Александре Александровне.

«А что, если зайти к ней? Сегодня четверг и вдобавок праздник — она обязательно дома. А не поздно ли поддерживать знакомство? А почему поздно?» — в таких раздумьях он добрал до раскрытого мыса Стрелки, где опять за водной плоскостью обманно мерещился остров Котлин, где опять туманился каменный морской город Кронштадт... и услышал оклик.

Шел, покачиваясь походкой, улыбаясь навстречу, с откинутыми на белый погон матроски ленточками от бескозырки, Сережа Зубровский.

— Здравствуйте, — прокричал он. — Как ваши дела? — и, сойдясь, пожал руку. От него пахло спиртом. — Пойдемте к нам. Или вы кого-нибудь ждете?

— Нет, никого не жду, — ответил Евгений.

— Ну, тогда вы наш, — определил Зубровский и, взяв за локоть, провел немного. — Я вас познакомлю с очень интересной женщиной — с Ольгой Эллерс. С женщиной в том смысле, что она не мужчина. И да... С ней Федька Ахлечев. Он впадает в лицейское остроумие, но вы не смущайтесь...

Разговор гардемарина был довольно несвязен.

Они подошли, нога в ногу, к паре, восседавшей на резной скамейке под раскрытым деревом. Лицеист в ранней николаевке кутался в бобры, показывая острый нос и большой глаз из-под высокой пушкинской треуголки, а девушка, очень прямо сидевшая рядом, будто насмешливо загородилась стек-

лами лорнета, серой, с черными швами, тугой и узкой перчаткой.

— Евгений Алексеевич Киндяков, — доложил гардемарин. — Федор Эрастович Ахлечев.

Девушка протянула руку, опустила лорнет, а лицеист встал. Подле воды, в легкости морозящей прохлады, в виду чистоплотного осеннего парка, испытывая робость и сладость предчувствий, Евгений неловко начал знакомиться.

Нет особой надобности рассказывать день за днем жизнь или встречи героев, которые суть Евгений и Сережа, Ольга и Александра Александровна Ропс. Это отнимет порядочно времени. Разумеется, жизнь наша прекрасна в каждом мгновении, а жизнь четырех молодых людей прелестна уже тем, что многое в этой жизни открывается новизной... Но, щадя читательскую благожелательность, я не буду испытывать ее и, порядочный лентяй, буду рассказывать не протяжно.

Ноябрьская ночь подходила к концу: шел пятый час. В Петербурге опять существовала ночная жизнь; но внешне все пребывало в зимнем покое: полный месяц волновался уже утренней облачностью.

В квартире на Каменноостровском была глухо, вещи осторожно стояли в затененных комнатах; изредка автомобильные лучи оголубливали, проносясь, потолки в передних комнатах, отсвечивали.

Евгений, укрытый с головой, спал тихо, упавшая думка слабо белела на коврике, которого, собственно, не было видно; карманные часы на столе бились-торопились бессонно и в потемках.

Вот где-то в глубине забрезжил звонок, вот пошли ночные явственные шаги: щелкая выключателями и освещая себе дорогу, пошел открывать Игнатий. Вот он вошел, влез впотьмах в Евгеньеву комнату и, остерегаясь, подступая, стал окликать вполголоса:

— Евгений Алексеевич, Евгений Алексеевич... А, Евгений Алексеевич!..

— Мм... — донеслось глухо.

— Вас спрашивает гардемарин Зубровский.

— Что? — явственно, с открытой головой, спросил Евгений — и зазвене-ла сетка.

— Так точно, гардемарин Зубровский.

— Проведи его, — еще повернулся Евгений, сильный со сна. — Да и свет зажги.

— Слушаю.

Комната поднялась и остановилась, ослепив Евгения. Оставшись один, он поднял с пола думку, стал отбивать ее и засунул под себя. Тут заволновались за дверью шорохи, дверь широко распахнулась: Сережа Зубровский в штатском, в расстегнутом меховом пальто, в котелке, в длинном галстуке, который выбился из-за жилета, — вшагнул в комнату и шатнулся.

— Извини, Евгений, — поздоровался он достаточно громко. — Кажется,

поздно, но...

— Это ничего, — ответил Евгений медленно и хмуро.

Гардемарин сел на кровать, сетка заскрежетала.

— Забавно, — продолжал он и снял котелок. — Ты знаешь, я откуда?

— Нет. Из ресторана?

— Нет. От Ольги.

— От Эллерс? — переспросил будто спокойно Евгений.

— Да, от Эллерс!.. Это похоже на немецкий роман, даю слово... «Вы меня не любите» — очень хорошая английская фраза. «Я согласилась на все ваши поцелуи» — это французское... Черт возьми, скука заниматься международными разговорами!.. — он отклонился, запуская руку в карман, шаря.

— Много ты сегодня выпил? — спросил так же негромко Евгений.

— Нет... Но у меня нет табаку, — объявил Сережа, еще качнувшись.

— Сейчас достанем. Ты ночуешь у меня?

— Я не знаю. Черт возьми, я ничего не знаю! — и, облокотясь на колени, Сережа закрыл ладонями лицо.

— Все узнается, — ответил спокойно Евгений, садясь на постели...

В одеяле, пощелкивая задниками туфлей, он пошел к стене, позвонил и вернулся к столу; Сережа сидел неподвижно; в дверях открылся Игнатий.

— Поставь, пожалуйста, сюда походную кровать, — приказал Евгений, почесываясь под одеялом, — достань у Филиппа Сергеевича папирос. И квасу, Игнатий...

Когда кровать была расставлена, застлана, на столе стояла шкатулка с папиросами и коричневый стеклянный кувшин пенного квасу, Евгений от стола подошел к Сереже.

— Ну, будем спать, — тронул он опущенное плечо. — Все это пустяки, уверяю тебя. Ложись-ка.

Разойдясь, по постелям, улегшись в темноте, они еще переговаривались: Сережа горестно и бессвязно, Евгений медленно и точно хмуро.

В это же самое глухое время в придворном доме на Конюшенной, в казенной квартире отца, при ночнике спала Ольга. В комнате было достаточно старинной мебели, темная деревянная кровать была с ящиками внизу: бронзовые ручки там отсвечивали ночнику. Обнаженные руки Ольги, две ее косы, пропущенные к щекам и на грудь, отображали тепло. Расставленные пуфы были просто сдвинуты: поздним вечером ходила по комнате Ольга и отодвигала их со своего пути. И сыпалось непрестанно звонкое существование круглых часиков в оправе бронзовых листьев, стоявших на столе в соседстве с ирисами в высоких стаканах и книжкой Юрия Слезкина. И слышался в комнате, в теплоте ее духов и запахов хорошего жилья, острый, душный девичий запах.

— Пожалуйста, если бы я могла... — покорностью слышались с кровати слова сонного бреда.

И на даче в Березовой аллее в своей комнате спала француженка Александра Александровна, покрывшись поверх стеганого одеяла своей беличьей

шубкой: она была зябкая, а на даче в морозы было прохладно. Вот ровное дыхание ее, шевелившее кружево покрывала, замедлилось, она кашлянула коротко и шевельнулась: кашлянув еще, она — уже проснулась, уже смотрела на темноту. Кошка в ногах завела мурлыканье, а французенка, нашарив спички, чиркнула и зажгла свечу. Лицо ее, пухлое ото сна и при свече, светлые легкие волосы — это через комнату отразилось в дыму стекла туалета. Она коротко, точно за ней следили, позевнула. И еще лучистее сделались ее добрые глаза... Странно, странно, но ей приснился тот рослый юноша, которому она в августе указала дорогу! Она видела его после этого два раза, но он не заметил ее, идя подле тонкой, гордой девушки, которая вела на ремне астма-буль-терьера, улыбаясь, озаряясь улыбкой на слова второго своего спутника, гарде-марина с завязанным глазом... И, прищуриваясь на свечу добродушно, стала вспоминать Александра Александровна поцелуи-сновидения, прислушиваться к предчувствиям...

Утром, в одиннадцать, надевши свою парадную блузку синей фланели, облачившись в передней в пыжиковую норвежскую куртку и треух, Евгений отправился по просьбе Сережи к Эллерс. Извозчик, которого он взял, дойдя пешком до Александровского сада, все время насупившись, приготавливая себя к визиту, — извозчик повез хорошо. А день начинался мягко.

На Конюшенной у желтого казенного дома он вышел на тротуар и рас-плачивался медленно. Направился мешковато в подъезд. А прогуливаясь по гостиной, где утро серебрёно вычерчивало в окна темные (на самом деле жел-тые) драпировки и висел над консолями настоящий и родовой Кипренский, — в гостиной на коврах Евгений потирал руки.

— Здравствуйте, я заставила себя ждать, — вошла быстро Ольга, и ее глаза сияли, — давайте сядем!..

Евгений поцеловал ей пальцы и послушно присел на желтое канапе.

— Или мы пойдем ко мне? — повернулась она. — Не смотрите на меня, пожалуйста, я плохо спала нынче.... Вы, наверное, зовете в Юмки?

— Нет, — ответил Евгений. — Я к вам по поручению...

— От кого? — она подняла гордые брови, усиливая вопрос. — От кого у вас ко мне поручение?

— Ну, от Сережи, — Евгений улыбнулся, ожидая ее улыбки.

Но она опустила взгляд, переложила руки на коленях: ногти, недавно отшлифованные, блеснули.

— Я слушаю, — сказала она глуше.

— Он был у меня вечером, — начал Евгений, заглядываясь на ее хитро зачесанные волосы, будто воспринимая их на ощупь. — Да, он ночевал у меня... Он сказал, что у вас произошла размолвка, — правда?

Она молчала. Евгений набрал воздуха для речи.

— Он просил передать вам, — голос дрогнул, — что он любит вас. Мне кажется, это правда... У него странный нрав, он бывает резок, но мне кажется...

— Пойдите! — вскинулась она: лицо ее потемнело от краски, глаза были лихорадочны, рука дрожала. — Минутку! Он говорил вам еще что-нибудь?

— Да, — и Евгений поднял лицо, — он просил вашей руки.

Она откинулась, закрыла лицо пальцами. Евгений не узнавал этой жизни; похоже было, что выпито несколько рюмок коньяку...

— Хорошо, — она прямо-таки вскочила и стала, держась за локотники кресла. — Хорошо! Передайте ему, что я согласна. Что я люблю его. И поцелуйте его вот так, — и прижавшись к его внимательному рту своими пленительными губами, она выбежала из гостиной.

Евгений, побледневши, вышел в переднюю.

В эту ночь Евгению снилось странное: он увидал себя в обществе покойной матери Ольги, которую знал только по фотографиям. Она пришла к нему в зеленой амазонке — в комнату на Каменноостровском, — сказала негромко:

— Ты как будто бы влюблен в Ольгу?

— Нет, — ответил Евгений без страха и удивления.

— Но почему ты волновался?..

— За Сережу. Потом — меня трогала ее любовь...

— А ты любишь кого-нибудь?

— Нет, никого...

— Ну, смотри...

Но мало ли что снится нам в юности? Всего не припомнишь.

Часть вторая

Все-таки — по-прежнему — нет никакой надобности описывать, как прошли в России тринадцатый и четырнадцатый годы. Кто из нас не помнит и не будет помнить до конца сознания, помнить увечьем, болезнью или просто разительным изменением всего внутреннего существа, — помнить широкую канонаду европейской войны, сумятицу матросских дней и прочее, прочее, внедрившееся в плоть и кровь буквально каждому?

В восемнадцатом году экспресс «Международного общества спальных вагонов и скорых европейских поездов», чуть ли не в последний свой разлет от Москвы до Владивостока с передышкой-пересадкой в Иркутске, — мчал, мотал своим бегом и супругов Киндяковых с трехлетней дочкой Танюшей. Евгений Алексеевич выглядел молодо, но дородно, благообразно, гладко выбритый, английски одетый, медлительный, малоразговорчивый; завоевания Октябрьской революции, по существу, ничего не отняли у него, ибо со смертью матери в шестнадцатом он, женатый с тринадцатого, — уже с шестнадцатого, ужаснувшись закладных, нахальства старших стряпчих, потерял остатки угодий и стал проживать подле жены, получая иногда субсидии от теток, переписывая женины переводы, получая за нее деньги. Жизнь его была без измене-

ния легка, вкусна, барски чистоплотна. Мало же до странности изменилась наружно и жена его Александра Александровна: будто хрупкая, незначительного роста, нежная признаками, она являлась, так сказать, работником на семью — успевала переводами и корреспонденцией за границу устроить благополучие очага, успела родить дочку и воспитанием ее не обременила отменную жизнь Евгения Александровича, — и вот, устроила это путешествие из завоеванной несчастьем Москвы к Великому океану, по которому так много путей всем предприимчивым людям. Следует еще отметить, что, мобилизованный поздно, Евгений Алексеевич по военным надобностям далее Минска не бывал.

Киндяковы проехали, коротко задержавшись во Владивостоке, в Японию. Там, в Иокогаме, на Блефе, в английском отеле прожили они два года вполне счастливо, даже ни разу ничем не болели.

А судьба четы Зубровских была несколько иная. Они поженились вскоре же, а через два месяца Сережа ушел в большое плавание. По возвращении, мичманом, он пробовал служить в подводном плавании, но оно ему не понравилось, и он перешел в гидроавиацию. С начала войны он был командирован за границу и там, благодаря Ольге и ее чарующему кокетству, пробыл, — большей частью в Париже, — до семнадцатого года.

Жили они весело и шумно, много получая денег из России, много проживали.

В мае семнадцатого года через Англию — Швецию приехали они в Петроград и тотчас же почувствовали себя иностранцами. Мрачные разговоры в гатчинских, царскосельских и петроградских особняках, особенно — на Таврической, где на третьем этаже поселился в отставке полковник Эллерс, — эти нашептывания поднимали возмущение Ольги и отвагу Сергея. Он пробовал несколько раз достать себе новое назначение за границу, но безуспешно, несмотря на славную помощь жены своей, чей грудной голос был радостен и значителен в разговоре с нужным лицом, чьи молодые и гордые глаза увлекали к безрассудствам седеющих, чей веер или раздушенную сумочку подержать — доставляло чувство, подобное тому, какое испытывает верноподданный, стоя на часах у опочивальни ее высочества; и все это, повторяю, было малоуспешно. Тогда не будет удивительным сказать, что Сергей оказался в конных рядах, которые наступали на Петроград. Эта историческая междоусобная оффензива, имевшая самоубийство генерала Крымова, для Сергея кончилась бегством в Киев, куда спешно прибыла сестрой милосердия Ольга. Они проехали на Дон, а оттуда в Варшаву. Однако на Рождестве их общий знакомый лейтенант Толмачев встречает их в Бухаресте. Впоследствии он рассказывал, что Зубровские показались ему очень изменившимися: щегольство и бодрость Сергея испытывали какую-то болезненную рассеянность, а лукавая женственность Ольги казалась порой просто бесстыдством, — она много пила и была очень легкомысленна, даже непристойна.

Далее Сергей служил у Деникина. Говорили про его громкий скандал, избиение им французского офицера, который, якобы, находился в близких отношениях с Ольгой.

С Юга Зубровские перекочевали в Константинополь.

Там, а затем в Афинах они жили спокойно и даже любовно. Сергей, насколько известно, перестал в это время прибегать к наркотикам (в Ростове на гауптвахте он был известен как эфироман).

По-видимому, окрепшая воля Сергея двинула Зубровских на новые приключения. В Александрии они разъединились. Ольга сбежала с танцором-австралийцем на Мальту, а Сергей сделался тапером в кофейне. Променивши это занятие на ремесло шофера, он уже в Каире, служа в английской компании мотокаров под фамилией Будлея, — встретил в поздний час в туземных кварталах свою жену: она сидела за столиком кофейной на тротуаре над чашкой черного кофе, одетая изысканно, нетрезвая, с сигаретой в губах, похлопывала в ладоши плясуну-арабчонку.

И они сошлись.

Жизнь! Ты, право, как неутомимая женщина. Понимаю я искренне того, кто, преданный Софии, прекрасной женственности, следовал за твоим образом из тишины книгохранилищ Британского музея на берега Африки!.. Внутренность трогают зовы твои в портах — в мощных, медленных голосах многопалубных пароходов, разворачивающихся между молв за белые башни маяков... Будто мужчина, лукаво-октавно кричишь ты на вокзальных путях — и десятиколенные высокие декаподы устремляются, сдвинувшись... Лают собаки на проезжих дорогах, у темных ворот, у темных берез, у домов с желтыми зажженными окнами. Зовешь... но разве можно счесть твои вездесущие зовы, изменчивая жена? Но, ревнивая, ты утомляешь в домоседе.

В двадцатом году Зубровские прибыли на Дальний Восток и проехали в Харбин. Сергей являлся военнотружущим и в некоторой степени дипломатическим представителем одной державы. Но очень скоро, ввиду его разгульной и неосторожной жизни, служба эта, т. е. плата за нее — прекратилась.

В двадцать первом году в начале июля около полудня и при солнце шел по платформе станции Океанской, что двадцати верстах от Владивостока, мужчина — молодежавый, рослый, кряжистый, в костюме из кремовой фланели, и вел за руку мальчугана, которому одеяньем были купальные трусики и который определенно сиял своим сплошным смуглым загаром. Мужчина этот был Евгений Александрович Киндяков, а мальчик — сын его соседей по даче, а пришли они на вокзал от моря.

Вот лицо Евгения Алексеевича — загорелое, серьезное, до лоска выбритое — насторожилось: смотрел он на высокую женщину в чесучовом платье, щурясь, припоминал горбоносый профиль, — сейчас, в тени от солнца, прикрывалась дама японским соломенным веером, — припоминал ее золотые волосы, зачесанные высоко, заколотые высоким гребнем, — пока... она, точно задевая, не обернулась и... он узнал Ольгу Эллерс, жену Сергея Зубровского.

Она тоже догадалась. И улыбнувшись, ощерясь крупными прекрасными зубами, двинулась навстречу. И он, опустив руку мальчика, пошел к ней.

— Ну, неужели я ошибаюсь? Евгений Киндяков, Евгений... ну, простите

мою память, — всегда был единственным! Да? — спрашивала она, даже пыталась болезненно-настойчивым взглядом. И протянула руку.

— Да, это я, — ответил Евгений Александрович, снявший при звуках голоса свою филиппинскую панаму, и поцеловал ей медленно легкую руку. — Да, это я, — он поморгал в смущении.

— А это я, — отозвалась она. — Ну, как ваши дела?.. Очень хорошо! Ведь женаты?..

— Да, женат, — ответил Евгений Александрович, стоя без шляпы, наблюдая, как набухают и расплываются мешочки нижних век, как вспыхивает в глазах.

— А вы здесь с семьей? Ну, разумеется, с семьей! Я тоже с семьей, но, наверное, вы не узнаете: постарел, седеет, пьянствует... — лицо ее сделалось серьезным. — Живем, как говорится, без места. Собираемся в Европу, но эта заветная мечта пока не сбывается... Но... вы на поезд?

— Нет, не столько на поезд, сколько просто на станцию, — ответил Евгений Алексеевич, все еще без панамы.

— Я тоже просто на станцию, — и улыбкой она показала золотой зуб. — Но что мы будем делать? Стоять на платформе, взаимно смущаясь? Это неинтересно. К себе я не приглашаю. И как...

— Могу... — начал было Евгений Алексеевич, и она опередила его:

— Да, пойдете к вам! Я очень хочу посмотреть, как вы живете своей семьей, — и она взяла под локоть Евгения Алексеевича, начиная прогулку. — Это ваш сын?

— Я пойду туда, — сказал мальчуган и мальчишески застенчиво махнул рукой.

— Да, вернись, — ответил Евгений Александрович рассеянно и, начиная прогулку, надел панаму, чувствуя на локте легкую руку. — Нет, это не мой сын. У меня девочка...

Так встретились друзья. Это произошло без особых восклицаний, без радостных слез, но Александра Александровна очень радушно познакомилась с Ольгой, вспомнив даже бультерьера. Гостя пристально завтракала, прикидываясь рассеянной, но не теряла своей привлекательности и во время неослабной еды. Был послан бой за Сергеем Ивановичем, но бой принес извинения, а Ольга Отговна объяснила между двух глотков, что ему, Сергею Ивановичу, не в чем выйти, вот и все; и попросила еще удивительного салата.

Вечером, провожая гостью до дома, Евгений Алексеевич был протяжно доволен и минувшим днем, и месячным вечером на даче, и острая веселость спутницы, — теперь он вел ее, явственно приныкая к телу ее сквозь чесучу, — только поддерживала спокойствие.

Они дошли до большого огорода, проступили в калитку за проволочную ограду, и Ольга окликнула:

— Сергей!..

От грядок поднялась и двинулась, освещенная месяцем, невысокая фигу-

ра в белом, пошла навстречу.

— Добрый вечер, — отозвался спокойный, изменившийся голос. — Очень рад. Не пришел...

— Я рассказала, почему вы не пришли.

— Ну, это еще лучше... Не здороваюсь: руки в земле.

— Хорош! А если бы вы видели, во что он одет, — продолжала Ольга, оборачивая месяцем освященное лицо. — В китайское!.. В самое настоящее китайское...

Помолчали.

— Ну, что же, — заговорила она, — зайдем, посмотрите, как живем. «С милым и в шалаше рай», и вот вам шалаш...

Это была китайская беленая фанза.

Вошли, и Сергей засветил свечу, и Евгений Алексеевич увидел одну комнату без печи, перегороденную повешенным на палку большим темным пледом, на который был наколот лист бумаги: «Просят не касаться»; стоял стол, на нем осыпались два букета. По голубым стенам висели этюды, акварельные и масляные, очень цветные. Кисея в раскрытых окнах, свежий воздух без мух, коричневая с золотом китайская чашка на подоконнике, сафьяновая шкатулка маникюра, — это примиряло...

— Пожалуйста, — обвила рукой Ольга, — эта салон, столовая, курительная и все, что вам угодно. Там — спальная... Вы не голодны? — спросила она мужа, и Евгений Алексеевич увидел, что тот действительно одет китайцем: в белой куртке со стоячим воротником и в синих рабочих брюках, которые, точно болотные сапоги, кончались в шаг и были подтянуты лямками к поясу.

— Нет, не голоден, — ответил негромко Зубровский, — а вы?

— Я тоже не голодна. Ну, садитесь пожалуйста, — и она прошла за плед.

— Сядем, — предложил Зубровский и, сев, захватил в горсть опавших ирисов. — Чем прикажете угощать?

— Ничем, — ответил Евгений Алексеевич, оглядывая при свече и близко дикарски загоревшее лицо, высоколобое в лысении, отстрадавшее, — но все-таки лицо гардемарина Сережи Зубровского...

— Вот что, — сказал Зубровский, — у меня есть редис, есть огурцы, есть баклажанная икра, есть винегрет. Все это первостатейная закуска... Выпьем водки? — и он улыбнулся, показывая много золотых зубов.

— Давайте, — согласился Евгений Александрович, хотя, как прежде, пил он очень редко и малое количество.

— Уел, — одобрил Зубровский и позвонил в открытые двери: — Василий! — и китаец, голый бронзовой грудью, в заношенном отребье, встал в дверях. — Чена ю? Лянга бутылка — понимай?

— Ладно, — ответил китаец, взявшись своей темной обезьяньей рукой за белый косяк, — больше ничего?

И в этот тихий июльский вечер, сидя на сквозняке при двух свечах против бледнеющего Зубровского, — Ольга ушла за плед и оттуда пожелала покойной ночи, — Евгений Алексеевич первый раз в своей жизни радужно захмелел.

И на прощанье расцеловался с Зубровским.

Шел он, однако, твердо, но так легко, точно его кто подносил бережно под мышки — точно два внимательных ангела счастья...

Разумеется, никто из четверых не подозревал, как окончится это воскресшее знакомство. Все четверо были взаимно счастливы, и больше всех, кажется, Александра Александровна, особенно когда ей удалось устроить Ольгу Оттовну, эту «шалую даму с фанзы», как ее прозвали, — репетиторшей новых языков в семейство харбинского биржевика.

Некоторая перемена сказалась разве в том, что Евгений Алексеевич все чаще, все охотнее и значительнее начал пить вино, предпочитая водку. Еще участились его встречи с Ольгой Оттовной, так как и Александра Александровна и Сергей Иванович были заняты делами. А эти двое и Танюша часто купались — на дню по два раза.

И вот наступило второе августа. Евгений Алексеевич с утра уехал в город, захвативши семейный список покупок. А в час, получив письмо из Токио, поехала в город Александра Александровна. С вокзала на извозчике начала она свои дела; а в четвертом с испариной, с сияньем натуженных зноем надбровий, сквозь зной безоблачного города, она пришла в ресторан «Курорт»: она мало проголодалась, но на веранде «Курорта», на сквозняках, на высоте Амурского лимана любил обедать в городе Евгений Алексеевич. И действительно: войдя к вешалкам, Александра Александровна увидела, что в зале, среди народа за белыми столами, обедает Евгений Алексеевич и с ним — Ольга. Она, Александра Александровна, начала поправлять перед зеркалом волосы и шляпу, увидела испуг в своих глазах и замедлилась перед зеркалом, чтобы успокоиться. Глядясь на отражение, на белое свое платье, кораллы на мало-загоревшей шее, шляпу — белой хризантемой, замечая свою усталость, даже неудобу, она раздельно повторяла про себя, что вовсе нечего беспокоиться, нечем томиться... и, невысокая, легкая, все еще иностранка, несмотря на долголетнее обрусение, вступила в залу — и с искренней улыбкой приблизилась к столику мужа. Но Евгений Алексеевич нахмурился...

ВЕСЕННЯЯ КАРУСЕЛЬ

Припоминаю в уединении, вижу, что ничего разительного в тот день не случилось. Но прелестна порою весенняя зыбкость, и вот опять я вижу себя чудачком-пловцом в открытом море, на солнечной воде, вдали расстояний от пятипалубных, надежных пароходов...

Еще тот день показал мне, как много людей болеют головокружением, как много людей несет течение, — и, может, счастье их, что они этого не замечают!

Свет был стеклянный, день был облачный. Утро кончилось в полдень, улица звонила и шла навстречу в своем многоэтажном ущелье. На углу, который огибал тротуар, округляли трамваи и обносили стремлением автомобили, плакаты газет гляделись поверх голов пешеходов, — на углу мы расстались: голубые глаза, бронзовый облик моего приятеля над серым кашне канул из моих глаз. А улица без останова говорила, мелькала, шуршала, довольно-таки громко напрягаясь под серебряными облаками своего ущелья.

Вы думаете, я прочитал хотя бы один газетный плакат? Ни одного. Я забыл плакаты. Я шел, прищуриваясь — а может, и широко раскрывши глаза. Какие-то женские глаза в ограде полей шляпы, их выразительная радость смущает меня тревогой: а мне не следует ли встретиться с некоторыми глазами, не протянуть ли мне свою преданность, успокоив весеннее томление?.. Но задрожала тут дрожь низкого голоса — пароходный басистый вопль над бухтой; и когда он замер, память моя, как голубь на приз, рванулась туда, где кончаются льды у полости шуршащих студеных вод, где камни Папенберга, где отвесы Тобизена, Вятлина!.. Но все-таки я вошел в дом, поднялся по ступенькам во второй этаж, прошел мимо женского, но жесткого разбега пишущих машинок, одолел еще двери и, сняв шапку, стал жать руки. Я пришел за деньгами, но денег мне не выдали: небольшой мужчина в сидящих коротких усах усмехнулся и повторил, что деньги могут быть после трех часов. Я сделал вид, что улыбаюсь, взял обе перчатки в правую руку и поклонился для всех, желая вслух всего доброго. Одолевая обратно неутомимую тропоту, даже карьер пишущих машинок, я вспомнил, что забыл закурить в той комнате, где без устали разговаривали о политике, прихлебывали чай, стаканы которого вносил китаец в черном...

Опять улица пела. Каждый шел по своим делам. Но некоторые просто прогуливались. Это были почти сплошь женщины. Из них были жирные, в каракулевых пальто, с мукой пудры на ноздрях; они задерживались у высоких окон магазинов, смотрели платья, надетые на манекены с совершенно раскрашенными мастиковыми лицами. Принюхиваясь невольно к запахам, я шел дальше... А пахло тонко и влажно весной, свободным новым воздухом, женскими волосами на апрельском сквозняке, теплотой женских комнатных рук, когда целуешь их, войдя с холода!..

Я зашел и сюда — в полутемную комнату, где вещи в час довольно поздний (уже упала полдневная пушка) стояли по-вчерашнему, где в этот довольно поздний час еще в постели под теплым одеялом лежала низко на подушках, под круглой серебряной иконкой изголовья, заспанная женщина — в дремотном полумраке. Я поставил стул к кровати. Высвободив голую руку, она

приняла от меня папиросу (на столе стояла целая коробка); закулив, стала говорить мне о своих снах, пожевывая, спрашивала — как, хорошо ли это? Но снов было без конца, голос был медленный, в комнате было не проветрено, а во мне возникло беспокойство, что вот день шагает и поет без меня, что вот я никак не могу попасть в его крестный ход, — ах, какое мне дело до снов этой добродушной тридцатилетней? И вдобавок я рассмотрел ее заспанное лицо...

Я опять был на улице, стоял на подъезде, размышлял о чем-то...

Позже мы встретились — я и друг мой. Голубые, едва ли не бирюзовые глаза его были рассеянны. Весь он торопился, но глаза были задумчивы, — и я понял его увлечение кругами, разлетом серебряных светов, воздушных песен, зовов будто воинской трубы... И опять, точно для задора, взвыл над всей бухтой голос океанского парохода!

Я сказал приятелю, что день этот чертовски головокружителен. И ответ — негромкий, на ходу — подтвердил мою догадку, что этот жизнерадостный тоже болен.

— Так что же?

— Вот, попробуем, зайдем еще сюда, — ответил он, и мы свернули в очень наклонный переулок на узкий тротуар под многоэтажной стеной и вошли в ворота. Подвальные комнаты с темными коридорчиками; эти комнаты верхним освещением и меблировкой почудились мне ожившей старой гравюрой *avant la lettre*; мальчик, белокурый, большеголовый, с кудрями, вдруг показался мне будущим Чайковским, знаменитым музыкантом, по крайней мере. А человек в широкой постели, затененный в углу под подвальным окном, этот больной с медленным голосом капризника еще убедил меня, как много страдающих, слегших в постель, не выдержав головокружения...

Но стойко пронесли его сквозь этот облачный, сквозной день. Правда, дела наши кончились неудачей — например, я в три часа смог только выпить водки, которая стояла, как за кулисами, за высокой спинкой английского серебряно-вельветового дивана, и поговорил с рыжебородым человеком о «Черном Гаспаре» Бертрана.

Но денег не было, — не было нам денежных удач. Мы опять шли к вокзалу. Уже не так пел город и хлесталось его движение. Уже опустело и вверх, над домами. Было сыро на плитах тротуара. Я ступал реже, чем мой спутник. Я приглядывался к нему. Стало казаться мне, что за признанием его о головокружении стоит бирюзовая стена причин этой сладостной болезни, что не признается он мне, отчего он рассеян сегодня.

Мы шли, неся дружбу двух самолюбивых. А это — очень капризная пьеса, и даже не читавши «Любви к трем апельсинам», два спутника-друга вдруг начинают испытывать взаимную тайную неприязнь, ревность, каждый — к соседнему самолюбию.

Так сквозь туман весеннего головокружения мы вернулись из города. Пожалуй, что на лесной, горной дороге мы молчали.

А о том, что было дальше, что переживал я в следующие дни, позволите рассказать мне в ином рассказе, который будет называться «Женщина за окном».

**ЖЕНЩИНА
ЗА ОКНОМ**

Говорят, что греки не видели голубой цвет: этот оттенок не был ощутим для них. А вот есть люди, которые совершенно не могут различить и не уверены в своих впечатлениях: любовь — или нелюбовь — внушают они?

Возможно, что это свойство, порождая обманы, заставляет страдать. Я расскажу одну старинную историю именно об этом.

В то время еще не был напечатан «Евгений Онегин». В Санкт-Петербурге, где произошла моя история, не было памятника «Стережущему» и многих других вещей. В одном из домов по Литейному жил конногвардеец — поручик Кастырин. Для своего чина он был довольно пожилым человеком — ему было двадцать семь лет. Он происходил из помещичьей семьи Курской губернии, имел состояние, держал четыре лошади, завел в комнатах трех собак и кота Бусого. Мог поручик Кастырин до рассвета играть в карты — и чуть ли не шесть дней в неделю, а в балет являлся, что называется, «а бон кураж», под турахом.

И вот так и установилось за ним, что он человек не умный и не глупый, а скорее тупой. Такие люди очень выразительны, неизвестно зачем они служат, неподходящее им занятие — выстаивание у колонны или в дверях гостиной на званых вечерах; такие люди не танцуют даже в ранней юности, невесело разговаривают, вино действует на них тоже не для легкости; и обычно бросают они службу рано, исчезают в провинциальную глушь, где и умирают безызвестно. Если эпитафия Шелли на надгробном камне одного из римских кладбищ гласит английской надписью, что имя усопшего «было написано на воде», — что же сказать об этих людях, которые и при жизни кажутся *дымными*, просто как косой дым в солнечной комнате.

Вот я рассказал, какого типа был Леонид Михайлович Кастырин. Дымчатые глаза его смотрели всегда без живости, и слова произносил он медленно. Удивлялись многие, чего выслуживается этот человек в столице, в кавалерии, да еще в гвардейской. Ездил он плохо, службу знал нетвердо и ею не увлекался. В карты поручик играл порядочно, но, опять-таки, без особой охоты, без задора: мог прекратить игру после первой же талии, а мог просидеть до той полоумной поры, когда сквозь случайно раздернутые гардины вдруг глядится в прокуренную комнату немо и чутко белесость утра...

— Знаешь, друг Кастырин, тебе надо жениться, — говорил поручик Лонгвинов, дожидаясь в кастыринском кабинете за малагой вечера, прогуливаясь по коврам и насвистывая знакомые мотивы. — Да, брат, твое призвание — женитьба... Как хочешь!

Кастырин, в бухарском архалуке сидевший с ногами в углу большого дивана, усмехнулся под тонкими своими усами:

— Ты скажешь...

— Нет, уверяю тебя, — продолжал Лонгвинов, приостанавливаясь, — женись, выходи в отставку и езжай в свои курские дебри, — вот твоя звезда, — и он налил себе малаги в стакан.

Разговор этот был совершенно случайный. Безусловно, Лонгвинов ничуть не интересовался звездой своего приятеля и сболтнул про женитьбу просто так, оторвавшись от мыслей, устав подбирать губы для свиста, — и запил

все добрым глотком вина.

Вечером играли в карты. Метал банк Кастырин. Карта шла ему, когда поднялся из-за стола всегдашний непоседа Лонгвинов, а за ним молодой Тюль. И Лонгвинов предложил компании ехать на бал к Трубчевским.

— Да, — отвечал большеусый кирасир Литович, — верно, сегодня именины старика. Но... постой, мы же в сюртуках!

— А разве мы не можем съездить и переодеться? — спросил Лонгвинов.

— Ну да, можем, — согласился Литович.

— Стало быть, едем переодеваться! А затем сюда, господа, и отсюда — хором к Трубчевским.

Так и сделали...

Высокие часы на высокой лестнице в коричневом доме на Шпалерной показывали три четверти одиннадцатого, когда офицеры прошли по этой лестничной площадке, взбивая мельком прически, одергивая колеты и мундиры, охорашиваясь, позванивая тоненькими бальными шпорами по отлогим ковровым ступенькам.

Уже было душно по зале, и позолота, и тюрбаны, и перья маячили. Тут-то волновалась публика в дверях; пахло тут, подле табачного запаха мужчин, и потом; поверх кованых воротников лоснилась испариной согретая кожа, а крахмальное лощеное белье у некоторых молодых людей делалось сыровато-теплым, и высокие воротнички отгибались свободнее. Поручик Кастырин, вставши в дверях желтой гостиной, так и остался бы стоять тут до ужина, но уединение в кругу бального говорливого круговорота, под резонансом высоких потолков, под врачующие напевы согласных музыкантов, которые, рассевшись за балюстрадой на этаже хор, опять впряглись в игру и ведут, ведут непрерывным кругом, кружат да кружат более тридцати пар танцующих... уединение кастыринское нарушил все тот же неутомимый Лонгвинов.

— Ну, дружок, идем, я должен рекомендовать тебя прелестной незнакомке, — проговорил конногвардеец, беря приятеля под руку, — она очень тобой заинтригована...

— Постой, о ком это ты? — пробовал расспрашивать Кастырин, увлекаемый под руку. — Я ее знаю?

— Она тебя знает и просила представить тебя... ну, что? — и конногвардеец повлек однополчанина. — Она Угличина, Наталья Ильинишна...

— А, я ее знаю... — только и успел ответить Кастырин, ибо они уже продвинулись к стулу Натальи Ильинишны. Она уже смотрела на него улыбаясь, замедлив помахивание страусового веера, — и Леонид Михайлович поникнул под ловкое исполнение шпорами, видя, что он знаком, уже встречался, но страшный невежа...

— Да, мы с вами встречались, а вы, наверное, запомнили, — проговорила девушка, опуская веер на колени, а взгляд ласково держа на высоте кастыринского взгляда. — Пожалуйста, я нисколько не в претензии. С кем не бывает рассеянности? Вас, думаю, удивит, но я должна буду расспрашивать

вас о той серой лошади, на которой вы третьего дня так резво ехали по Итальянской...

И, оставшись подле стула Угличиной, Леонид Михайлович должен был рассказывать о своей серой Атласной, о ее резвости, о ее родителях, — и барышня внимательными вопросами показала, что она не празднo любопытствует. Потом она просила провести ее в гостиную, — поручик исполнил это вежливо и, пожалуй, с некоторой неловкостью в движениях. В гостиной же ему довелось добывать для дамы оршад. И, окончательно закружившись, он стоял подле, отвечая ей исполнительно, кашлял при молчании и хмурился.

Наталья Ильинишна отнюдь не была красавицей. На балу было достаточно барышень и дам, которые внешностью своей, туалетами, женственным своим оживлением были куда прелестней. Но разве мы знаем, *почему* влюбляемся, разве мы понимаем, *когда* влюбляемся? Может, в той, которая чарует нас, встречаем мы нечто свое, или нечто перенимается легко нашей натурой и делается нам необходимым, — кто в этом разберется? Прелесть женственного очень разнообразна. Чудо очарования вовсе не в изумлении. И любовь приходит неощутимо, как сон: проследишь ли всю постепенность потери сознания?

И я не скажу, что Леонид Михайлович уехал с бала полоненный. Нет, жило в нем некоторое благодушие, приятно было ему помнить беседы с Натальей Ильинишной, — но и это заспалось. И все три дня, покуда он не видался с Лонгвиновым, он, пожалуй, не вспоминал барышню Угличину; к тому же и Атласная была уведена в Гатчину на конюшню к Литовичу.

Приехав в четвертом часу дня, когда Леонид Михайлович спал на своем диване, прикрывши лицо зеленым шелковым платком, — вошел шумно Лонгвинов и, сбрасывая шинель на кресло, сказал весело:

— Ну, здравствуй, Леонид Михайлович!

Окликнутый проснулся, сдернул платок, спросонок улыбаясь.

— Как чувствуешь себя, голубчик? Как дела идут? — продолжал Лонгвинов.

— Спасибо тебе, ничего, — отвечал Леонид Михайлович. — Как ты?

— А почему ты не побывал у Угличиных? — спросил Лонгвинов и крикнул: — Федя, трубку!..

Казачок, русоголовый, с косичкой по воротнику серого сюртука, устроил трубку и вышел, кашлянув в руку.

— Да, почему, брат, ты не был у Натальи Ильинишны, а? — говорил Лонгвинов, рассевшись и дымно насосав трубку.

— Да... — Леонид Михайлович помедлил. — Ну вот. Собираюсь все...

— Напрасно, — Лонгвинов выпустил облачко дыма, выдохнул ловко сряду три дымных кольца. — Она тобой очень интересуется. Вчерашний день, утром, встретившись у Запечневой, я только и должен был рассказывать о тебе.

Леонид Михайлович криво усмехнулся.

— Выдумываешь ты все. Кому это интересно про меня слушать?.. А Запеченева, чай, про меня и не знает...

— А вот знает! Наказывала тебя обязательно привезти к ней... Да, а справлялась о тебе Наталья Ильинишна... Вот что, брат, едем к Тюлям обедать!

— Обедать? Почему обедать? — спросил Леонид Михайлович, вставая однако.

— Э, толкуй больной с подлекарем! — отмахнулся Лонгвинов чубуком. — Почему? Ну, звали, ну, будут рады, — ну, что? Ну, будет Наталья Ильинишна!..

— А-а, — ответил как-то странно наш герой и, разминаясь, пошел тяжело из комнаты. В дверях он обернулся: — Ты извини, я умоюсь...

— Умывайся, умывайся, — кивнул Лонгвинов и опять крикнул: — Федя, трубку!..

Петербург в те дни выглядел совсем не так, каким мы его помним. Погода, правда, была нам знакомая — серая, влажная: ноябрь месяц стоял. И катились с постуком высокие кареты, на козлах сидели лакеи в ливрейных шубах, верхом на дрожках проезжали люди в высоких шляпах, пряча носы в воротник шинели, у которой сырой ветер задирает пелерину и пустые рукава. В кондитерских торговали полногрудые немки. Два дня не брившийся будочник со смехотворной алебардой, сутулясь, курил трубку из рукава. Сбитенщик в красном шарфе со своим самоваром под рукой стоял у Гостиного двора, — и рядом мы видели газетчика с его щитом из газет, в форменном картузе с бляхой...

Оба офицера успели как раз вовремя; а из полутемной гостиной, где в углу под коричневой испанской картиной остро пахло мышами, — из гостиной в желтую столовую повел Леонид Михайлович Угличину: ее рука в митенке легко легла на его темный рукав.

Сидя против света за столом с округлыми краями, поймав, прислушавшись и определив, что хрустальные подвески позванивают, — Леонид Михайлович начал погружаться в неловкость, начал бояться глаз своей соседки, которая разговаривала свободно, оборачивая от тарелки лицо свое и спрашивая...

Когда он вернулся домой, промчавшись, рассеявшись крупной рысью в одиноких своих санях, — стоял уже полный вечер. Высокий денщик зажег свечи в кабинете. Леонид Михайлович сел к столу, расстегнул крючки воротника...

Он поймал себя на пристальном взгляде на свою левую руку, положенную на кожу бювара. Он шевельнулся и закрыл лицо ладонями, но и там блеснул ему образ Натальи Ильинишны: оборачивалась она от тарелки и улыбалась глазами, спрашивала.

В этот вечер Леонид Михайлович никуда не выезжал и гостей у него не было.

Пожалуй, все описанное и то, что чувствовал Леонид Михайлович следующие два дня — не являлось любовью: это была, так сказать, тропа не в полях, но в лесу Любви, и аллея всех аллей уже просвечивала путнику...

За эти два дня не однажды Леониду Михайловичу довелось слышать имя Натальи Ильинишны, и всегда в кадрили со своим именем. И может, эти разговоры учащали сердцебиение, углубляли рассеянность и устраивали улыбку чудного озарения. Жил в эти дни Леонид Михайлович, что называется, вполпьяна, точно вскружил эту голову разговор с Софьей Дмитриевной Клобуковой. Это произошло в доме этой дамы, в ее будуаре в полдень. Софья Дмитриевна, дама не первой молодости, величавая матрона в кружевном чепце на русых волосах, в пестрой турецкой шали, обнажив полную руку до локтя, держала пахитосу. В будуаре пахло туалетными эссенциями, было еще не прибрано, — так запросто, почти в ночной кофте, принимала Софья Дмитриевна своего двоюродного племянника.

— Друг мой, я говорю серьезно, — объяснялась она голосом низким и звучным, — Наташа очень и очень заинтригована тобой. Ежели она тебе симпатична, а по мне это так, ты непременно должен просить руки. Ты будешь страшно глуп, ежели этого не сделаешь...

— Однако, — вздохнул Леонид Михайлович и переложил руки, — почему вы полагаете так?

— Ах, это всякая женщина видит сразу, — ответила Софья Дмитриевна. — Я вчера имела разговор с ней о тебе; как она смутилась, когда я объявила ей о твоём чувстве! Она прямо-таки пионом расцвела и готова была сквозь землю провалиться. Ах, прелестно смутилась она!..

Леонид Михайлович опустил голову, сжимал руки и не видел рук.

Комнаты вообще не существовало вокруг него, а лишь один голос из каких-то сладостных облаков возвещал томительные слова. Он не протестовал, что уже кто-то объяснился за него в чувствах, он даже не заикнулся отрицать эти чувства, — он испытывал удивительную немоту, озноб и перекладывал и сжимал еще на новый манер полосатые кровоприливом руки....

Тут послышался шум; в салоне черного бархата с горностаевым воротником, в шляпе капором вошла Наталья Ильинишна и за ней молодой человек в коричневом толстом сюртуке, со шляпой в руках.

— Мы к вам, Софья Дмитриевна, — сказала девушка весело, — здравствуйте. Мы не помешали?

— Ну, вот тебе, — ответила Клобукова, запахивая шаль. — Правда, одета я по-утреннему, и могу шокировать господина Курцевича, — но что ж, прошу извинить старуху, — и дамы поцеловались.

Наталья Ильинишна уселась подле хозяйки, положила на колени свою большую муфту, вздохнула и обратила свой сияющий взгляд на Леонида Михайловича. Но она не встретила глаз поручика: опущенное лицо офицера казалось побледневшим, он закусил губу, и тонкие усы его перекосились...

Да! Никто и не заметил, никто и не ахнул, а сердце Леонида Михайловича было неожиданно ранено. Прелестно-влажные глаза Натальи Ильинишны, особенность в глазах ее и отлив, темные кольца английских ее локонов на

белом меху широкого воротника, белая мальчишеская марижка ее, — все его упало через глаза вовнутрь и легло там холодным пластом, и ненависть туманом поднялась оттуда на бледного франта в коричневом сюртуке...

Разговор шел, разговор продолжался, а конной гвардии поручик Кастырин молчал, покусывая ус, — может быть, он этого и не замечал даже? Может быть, не заметил он и того, что поднялся со своего низенького пуфа, и едва ли не голос Софьи Дмитриевны привел его в чувство.

— Уходишь? — спросила она. — Куда заторопился?

— Да, ухожу, — ответил Леонид Михайлович, но не мрачно, а скорее сонно, с усилием. И, поцеловавши руку тетке, отвесив поклон паре, — глаза Натальи Ильинишны улыбались ласково, — крепко ступая, он вышел из гостиной.

— Жду вас к себе! — звонко донесся ему вслед пленительный голос.

Лучше бы гремела гроза над Петербургом, над прямыми улицами высоких этажей; ветер, что ли, нашпорил бы свою морскую сырость; бесшумные хороводы белых хлопьев пусть бы мчались в обеленных ветреных улицах, обрушиваясь на горячее лицо прохожего! Но было тихо, было оттепельно, синяя пасмурность стояла в облаках, сыро дымили дали улиц. Леонид Михайлович шел по панели близко тумб, пола его шинели везлась по сырости плит, а по мостовой шагала, переходила на рысь и осаживалась рыжебородым Герасимом тонконогая «Атласная» в одиночной запряжке...

Я уже предчувствую, как изумит читателя конец моей истории: никто, наверное, не догадается, что сделал Леонид Михайлович, — а выход его был прост: он вышел в отставку и уехал в провинцию, сгинул в тамошних недрах.

Это непонятно, нелепо. Какая-то случайность, вдобавок еще непроверенная, недоразумение — и вот глухое бешенство самолюбия, пьяный разгул, дебоширство в компании повес-однополчан, грубая выходка со старшим и предложение подать в отставку, — все это развернулось чрезвычайно быстро!

И высокая хоругвь единственной любви, знамя, через которое, однако, звезды искрят ближе и солнце посылает свой блеск еще лучезарнее, — знамя его свернулось...

А впрочем, кому ни случалось принимать этот раскинутый полог просто за череду весенних облаков, чье живоносное сияние через прищуренные глаза щемит сердце невнятно, но ласково?

Многое в жизни минует мы рассеянно. Часто, достаточно часто любовь приходит безо всяких песен и без гипсовых масок Трагедии...

А в деревне своей Леонид Михайлович не сразу, чай, забыл петербургские видения и, наверное, долго и очень настойчиво в летние полдни и в пасмурные октябрьские утра (когда сады дымят), и в белые святки, и под звон деревенских пасхальных колоколов — облик Натальи Ильинишны вставал за итальянским окном его тихого кабинета.

СНЫ

Рассказывать об этом почти невозможно — по трудности заинтересовать читателя. Ибо сны — всегда чересчур личны, они обязательно нуждаются в пояснениях, которые протяжны и путаны.

Жизнь сладостна. И прелесть существования, радость пользования чувствами, тайная внутренняя дрожь, — это порою открывается уставшему духу в снах, в их аттической прохладе и безмолвии — так в снах заряжаемся мы жаждой жизни.

Сны прекрасны. Истома сновидения порою живет до вечера, до забвения, до потери сознания, когда в темноте устроишь покойно голову на прохладной подушке, уже забываешь настойчивые шелесты, дуновения в открытое окно... Но можно ли желать непробудного сна, можно ли жить только снами, их невыполненной тревогой, божественным безмолвием летейских просторов?

Но случается, живешь день в день спокойно и равнодушно, пересаживаешь незабудки на клумбах и окучиваешь, точно картофель, угрюмое сознание; за обедом говоришь о политике — о том, что пишут в газетах — и совершенно чужды все эти конференции; и вот опять перед сном читаешь комфортабельного бродягу Крымова или вспоминаешь пыль Заволжья над молодым Толстым, — о, все это бытие, как бабушкин гарус, а ночами ничего не снится. Ибо достаточно сонно было весь день.

...Утро началось для меня в седьмом часу. После трех дней серых небес, настойчивого дождя — баснословно гляделась лазурь и сверкающие медленным, точно музыка Шумана, облака и густая темная зелень. А непросохшие дорожки, качая тени и солнечные пятна, представлялись дорогами одинокого полного счастья. Прекрасна была отразившая зелень кустов лужа на теннисе — почти во всю длину левого коридора.

Самое лучшее в такое парное утро — отправиться в пешую прогулку. Так я и сделал. Я начал путь с мокрой от умывания головой, опираясь на белую освежеванную палочку. Ранняя прохлада поощряла меня.

Залив был точно завешен, затянут вплотную над водой серебристым шелком, но вода проступала лазорево. Горы на том берегу были туманны, не остры. Было полное безлюдие на песке вокруг купальных будок, а сами будки казались свежеокрашенными...

Почти в одиночестве прошел я три с лишком версты. Лишь двое людей разминулись со мной на обочинной дорожке у рельс: подтанцовывая, пронесли свои плавные шесты с повешенными корзинами — ле-

диска, молковка, салада, иба...

А удалившись в сопки, на широкие повороты военной дороги, вглубь от взморья, — я повстречал японский броневой автомобиль: грязно-защитный, украшенный зелеными ветками, он буксовал, шумел с перебоями на одном месте, а вокруг хватались солдаты, уже разомлевшие в зной, расстегнутые, занавесившиеся короткими полотенцами — семь человек. В моторе трещало. «Подшипники купить», — подумал во мне влюбленный в автомобили, а память тотчас изобразила, как лопнет алюминиевый картер и тавот, как черная кровь, выльется на песок... Я миновал броневик. Я вспомнил, что на днях видел одного из этих желчно-смуглых людей раздавленным поездом: измятый труп лежал между рельс, как мусор, был закидан травой и песком; протянутая на весу рука уже гляделась восковой, сделанной из воска, с неживыми, стеклянными ногтями; нечто кроваво-распоротое на бледной коже угловато торчало — не то бок, не то разбитое безобразное лицо; мягкие крошки, обрубки свежей говядины прилепились к рельсам, к шпалам... Смерть солдата в чужом краю, об этом поют песни. И я стал думать о войне, о воинских опасностях, вспоминал, как забавно и жутко-стремительно запрокидываются люди под расстрелом: я почувствовал острую свободу — возможность потерять жизнь, — и заговорил про себя с неведомым собеседником.

«Это все — как спорт. Иногда это матч. Единоборство с достойным, а иногда это охота, но не столько ради потехи, а суровое уничтожение зловредного, пакостного...»

Две версты безлюдного подъема военной дороги, и я пришел в гости. Черный легавый Бобка залаял на цепи басисто, когда я проходил в новую некрашеную калитку, а инженер в пенсне окликнул меня из окна сеновала над приставленной лестницей, белея оттуда еще ночной рубашкой. Тени на дворе были длинные, окна в доме были раскрыты. Мой друг вышел на крыльцо босой, в купальном халате.

Все эти дни я был вдвойне угрюм. В весенние дни падали на меня осенние листья. Я писал сонеты о Стерне, о Новалисе, но это были тщетные попытки рассеяться, приобщиться к иной жизни. Город опостылел мне. В него въехать не хватало у меня силы.

И в это утро среди зеленых сопки, высоко над морем, видя и чувствуя отважную пустоту солнечного воздуха, — я вдруг понял, что смысл жизни — в путешествиях...

Позже мы лежали на большом нагретом одеяле среди кустов, на солнцепеке, — нагие загорали, принимали ванны зноя и ветра. В тенистом, пронзительно-холодном ручье мыл я ноги, обливал голову. Но отовсюду, — из-под влажных кустов, из зарослей папоротника, из глубины между облаками, в нытье автомобиля, который на первой скорости одолевает, берет где-то за деревьями подъем, — отовсюду глядела молча моя одурь, мой безмолвный сплин.

К обеду приехали гости. Я несколько не обрадовался им и нароч-

но обедал в валенках, что забавило всех. Перед городскими белыми платьями я был совершенно спокоен со своей четырехдневной бородой, в полуразвязанном галстуке. — А потом на расстеленных одеялах, на подушках, но уже в тени, одна из гостей рассказала нам судьбу по нашим ладоням. У меня оказалась редкость на руке: царственное запястье, обещающее долголетие. Мой большой палец изобличал исключительную волю, берущую верх над рассудком, — упорное безрассудство. У меня были три линии искусства. А холм Марса развился на моих ладонях, как никакой иной холм: храбрость, воинские способности...

— Не начать ли мне писать военные обозрения? — сказал я, смотря на волосы гадалки, испытывая ее прикосновения.

Она рассмеялась.

— Больших путешествий нету... — продолжала она. — Или вот большое путешествие... Браки. Брак один, по взаимной склонности, но он только намечается...

— И не состоится? — спросил кто-то.

— Трудно определить. Возможно, что после упорной борьбы... Но какой у вас законченный характер!

К вечеру гости уехали. Я лежал в темной комнате лицом к открытому окну. Мои ноги, грудь и руки до локтей открыто принимали вечернюю свежесть. Береза под окном изламывалась, шумела листвою от напористого ветра. И мне было отрадно думать, что еще много таких вечеров я буду помнить о себе и о своих дорогах...

Спали мы с инженером на сенокосе. Мы лежали там в темноте навзничь, сосали леденцы. Темнота пахла сеном, коровьим запахом и конюшной — снизу. Звезды глядели в открытое окно, напористый теплый ветер врывался к нам... Инженер говорил:

— Помните у По рассказ об усадьбе Арнгейм? Мне очень часто помнится, точно виденное во сне, как там ведут от дома к колодцу каменные плиты, и между ними растет зеленая трава... Я это здорово хорошо вижу!..

Я промолчал. Он позевнул и сказал еще:

— Однако, я помаял сегодня хозяйку на теннисе! Голова заболела у бедняжки... А они славные, в общем, люди... Какой это Олюшке вы читали вчера сказки, уединившись?

— Олюшке? — пробормотал я, уже глубоко в мягком оцепенении дремы. — Что за чушь...

— Ну, рассказывайте!..

И вот во сне мне стало видеться чудесное и томительное. Правда, теперь, за день, я уже многое забыл, и оно волнует меня смутно. Но вот что я помню — пью медленно жаждой воспоминания:

Я видел библиотеку. Возможно, что это была Национальная библиотека в Париже. Я видел только край книжных высоких полок, разноцветные корешки, тисненные золотом. А передо мной была раскры-

та книга.

...И вот близко протянулась обнаженная выше локтя женская рука. Казалось, протянула неизвестная женщина у самых моих губ руку к полкам. Я увидел глаза, лицо ее. Глаза стали смотреть на меня. Мы были в странной близости: у женщины не было тела, только рука и лицо, у меня не было тела, только глаза и губы. Рука была упрямо близко, совсем касалась моих губ, обнаженная, тяжеловатая рука статуи, светлая женская рука, ясная теплотой и рисунком голубых вен. Она замедлилась. И, приняв ее своей загорелой костистой рукой, я приник губами к изгибу в локте, — ветреная свежесть сновидения...

Я проснулся. Новое утро гляделось в окно сеновала. Простыни и одеяла инженера были смяты, покинуты.

— Ты едешь в город? — кричал снизу мой друг.

— Нет! — ответил я громко и закрыл глаза. Но я открыл их тотчас, — да: ветер, опаловый залив там, в провале, голубая облачность... жизнь, жизнь...

19 июня 1922 г. Красный Мыс.

ПОТЕРЯВШИЙСЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

В минувшее лето мне довольно часто приходилось встречаться с В. Г. Д. Знакомых Д. весьма, полагаю, поразит мое сообщение, что он очень настойчиво интересовался все лето — оккультизмом. Именно благодаря его настойчивости в поисках источников старинного волшебства, увлекся этой причудой и я.

Вполне охотно совершал я с В. Г. прогулки изрядных концов — с 19 версты в Сад-город, с Океанской на Седанку, всюду — в поисках старой литературы о заклятиях и заклинаниях, как войти в соприкосновение с миром невидимым.

Наверное, кое-кого мы позабавили нашими посещениями, но в некоторых домах отнеслись к нам с полным пониманием. Но одинаково всюду мы не успели в розысках хотя бы одного рецепта — как воспользоваться теми формулами, которые В. Г. знал наизусть. С нами охотно вели беседы о потустороннем; в одном месте мы даже услышали прорицание о роковой опасности, которая грозит в наши дни арийской расе и о возможной гибели европейско-азиатского материка...

Я теперь не смогу рассказать толково о философской дисциплине В. Г., о его интересных умозаклучениях по поводу порядка вещей и «для чего мы, человеки, живем». Истекшее от летних месяцев время достаточно рассеяло в моей памяти те любопытные выводы и просто положения, о которых В. Г. рассказывал мне охотно и подробно. Я очень жалею об этом. Ибо если мир, видимый до сих пор, являлся для меня красотой совершенной, — может случиться в веренице моих дней глухая пора отчаяния, когда, глядя на звездное небо, я задумаюсь: «Да звезды ли это? И если звезды, то для чего они сияют?..»

Наши попытки проникнуть в область потустороннего непосредственно — закончились неудачей. Интерес, настойчивость к знакомству с астралом — упали...

Однако к концу лета мне довелось услышать одну любопытную историю: что получилось однажды из знакомства с потусторонним.

Я был в гостях у инженера О. Июльский день закатился безоблачно. Мы с О. попаслись, как говорил он, около малины, вдоволь накушались спелой ягоды, а затем протянулись в садовых креслах и закурили.

— Каков табачок? — спросил О., раскурив свою трубку.

— Отличный, — отозвался я.

— Личная-с культура-с, — встряхнулся О. и, скрестив руки, стал наблюдать собственное курение.

По саду уже не было солнца. На холостяцкой белой даче О. было тихо, лишь бой напевал на заднем крыльце и чистил картофель на ужин. Я спросил, правда ли, что В. Г. садит табак, — инженер отверг это.

Два-три вопроса, минута разговора — и мы уже говорили об оккультизме. И вот что рассказал мне О.:

— Я бы сам, как и вы, сказал бы, что это — глупость и еще что-

нибудь. Однако, этого я не скажу. И не скажу на основании одного случая... Желаете послушать?

— С большим удовольствием.

— Случай удивительный, доложу я вам... И должен я еще сказать, что никаких комментариев вы с меня не спрашивайте. Я вам расскажу не суть, а только факт. И расскажу безо всяких прикрас. Покороче...

В девятьсот третьем году студентом я жил в Минске. Жил я в комнате вместе со своим однокурсником на Петербургской, неподалеку от Серпуховской. Н-да... Был месяц июнь, погода отличная... А Бадковский увлекся в это время вот точно такими же вещами, как и вы с В. Г.: хиромантия, астрология, черная и белая магия и еще как там. Подружился с каким-то ксендзом расстриженным, пропадает по ночам, книг натащил по этой отрасли. Великолепно. Я над ним, случалось, подсмеивался. Но парень серьезно, вижу, увлекся. Я же особенно не интересовался его досугом — служба была интересная, уставал я от нее, — ходил в губернаторский сад, знакомства были, разумеется, флирт.

Однако, прихожу я как-то домой около десяти вечера. Бадковский дома. Хочешь, говорит, с чертом познакомиться? Каким образом? А вот сегодня ночью. И для каких надобностей? — Для каких угодно...

Я ничего не ответил, стал располагаться на ночь, а он сидит, пошвыстывает и в своих книгах перелистывает.

Лежу и не спится. Всегда я отлично спал, а тут — хоть удавись. Но ворочался, поворочался я, и закурил...

Ну, и кончилось тем, что я встал, оделся и пошел с Бадковским на улицу.

Было, знаете, не то под новолунье, не то как-то иначе, как ему, Бадковскому, требовалось, но было облачно, темно, фонари не горели, и было на удивление безлюдно. И ветерка даже не чувствовалось.

— Вот что, — сказал мне Бадковский за воротами, — ты стой здесь, а я пойду на угол. Ты туда не ходи. А если что выйдет, то я и о тебе позабочусь. Ну, стой, — и пошел.

Я сел на лавочку и, как помнится, позевнул. Мне чего-то свежо показалось и как-то неприятно в этой тишине. Бадковского на углу мне было видно отлично — темной фигурой. Я закурил и стал смотреть, что он делать будет. А он походил медленно — черту, круг, что ли, проводил там, — а потом встал и, как мне послышалось, начал говорить...

Повторяю вам, мне чего-то захотелось на улице спать. Я позевнул, и крепко позевнул. Потом еще. А тут потянуло ветерком и, знаете, удивительно неприятен показался мне этот ветерок. Как из какого-то подлого ледника!..

Гляжу, а Бадковский на углу не один — подошли к нему какие-то двое — судя по фигурам, мужчина и женщина. Разговаривают. Вот, думаю, хорошая твоя ворожба. И вижу, как мой Бадковский сходит с места и идет с этими прохожими за угол, на Серпуховскую.

Я еще посидел, то ли дремал, то ли так — сон нагуливал. Бадковский не возвращается. Я подождал его с пол часа и пошел спать...

— Ну, и когда он вернулся? — спросил я.

— Да он больше не возвращался. Да. Ни завтра, ни послезавтра, ни через три дня. Хозяйка посоветовалась со мною и заявила в полицию. Написал я его родным в Полоцк, — приехала его сестра, расспросила, всплакнула, забрала его вещи и уехала. А осенью я сам выехал в Питер..

— И больше вы вашего приятеля не встречали? — спросил я.

— Да, ни разу, — ответил он, — ни разу... — повторил он еще.

ЛЕЛЬ

I. Песнь о Роланде

Полдень. Дожда нет, безветренно, но туманная облачность мелко сеет сырость. Мы проиграли на пианино все, что умели: ты — «марш веселого полка» и «вальс дам», а я — сигнал «рысью».

— Ну, расскажите какую-нибудь историю, — попросил ты, уминаясь у меня на коленях повыше. — О богатырях.

— О богатырях? Хорошо...

И я рассказал, как умел, песнь о Роланде.

— Понравилась тебе эта история?

— Нет! Мне не нравится, зачем он умер. Не нужно, чтобы он умер...

И воистину лишне было отвечать тебе, что трувер Тальефер пел эту песню 13-го октября 1066 года в долине Гастингса, когда полки Гаральда и Вильгельма готовились вступить в бой, что еще тысячу раз пелась эта песнь, что Роланд не умер, что он вовсе не какой-то старинный «*Britannici legis praefectus*», а он — наша мужская красная кровь, — ты догадался обо всем и без моих путанных слов.

— Знаете что, давайте поиграем, — предложил ты, спускаясь с колен. — Да, в богатырей. Идемте!..

И мы пошли. Я взял твой лук, а ты — свое сеульское ружье; ты стрелой умчался на кухню к Нюре — за «пулями» — и догнал меня, зажимая в кулаке горошины.

Осторожно выступили мы на огород. Почти тотчас мы присели в засаду, за гороховой изгородью, потому что...

— Две с половиной тысячи воинов! — шепот твой тороплив. — Или нет: триста тысяч, четыреста, да!.. Я стреляю!

И ты выстрелил.

— Пять, пятьсот тысяч убито! — ты зарядил свое чудесное ружье для нового залпа.

— Стреляю! — воскликнул и я, но, признаюсь, я волновался и никак не мог наладиться со стрелой. Наконец, я выстрелил — в грядку с баклажанами.

— Отступают в бегстве! — воскликнул и я, поднявшись, шагнул за стрелой.

— Кто? — спросил ты, недоумевая.

— Враги!

— Но мы же всех убили!

— Ну, какие-то всадники. Скачем вдогонку! — и мы поскакали.

Право, тебя несколько не тревожило, что нас только двое, что я скверно стреляю, а врагов за каждым кустом по двести тысяч. Ты смело мчал и стрелял без промаху; ни один миг ты не сомневался в нашей победе.

А оно так и случилось. Усталые после победной скачки, вернулись

мы аллеей от ворот. Попугай приветствовал нас вежливо-торопливым (с калитки на теннис):

— Поп-чка, поп-чка.

— Что за зверь? — спросил я, приостанавливаясь.

— А это пленный король, — ответил ты. — Он же попал к нам в плен!

Мы вошли в комнаты. На пианино лежали газеты, но я не подумал читать их — Господи, да газеты всегда пишут неправду: они, например, никогда не напишут, что мы непобедимы и что Роланд вовсе не умер!

II. Наполеон и его два друга

— Вы будете Наполеоном, а я буду начальником, — предложил ты. — Хорошо?

— Хорошо. А попугай кем будет?

— А попугай будет вашим адъютантом. Хорошо?

— Хорошо.

— Ну, я сейчас приду к вам в гости, — ты отошел к дверям в кабинет и постучал.

— Войдите! — отозвался Наполеон и кашлянул.

— Здравствуйте! — вошел генерал шести лет. — Вас можно видеть?

— Пожалуйста. Очень рад... Как ваше имя?

— Зовите меня... Талейран Иванович.

— Ах да! Ну, как живете, Талейран Иванович?

— Очень хорошо! А как вы?

— Очень плохо. Пришлось распустить всю армию. Даже гвардию, и ту распустил.

— А что такое гвардия? — спрашивает генерал тихо.

— А это лучшие солдаты, — отвечает Наполеон вполголоса. И громче: — Да, нет фуража, нет оружия.

— Ну... Хотите мою армию? Очень хорошая.

— Очень?

— Да. А где ваша жена Жозефина?

— Она? Она в Париже.

— А почему?

— Видите ли, ей опасно здесь. У меня нет солдат. А потом ей не нравится здесь: нет музыки, мало народу...

— Ну, почему так? — брови твои шевельнулись. — Ну, пусть она приедет!

— Но она не хочет.

— Ну пусть хочет!

Наполеон помолчал и ответил:

— Значит, вы предлагаете мне свою армию?

— Да, мою армию, — повторил генерал. И прибавил: — И гвардию.

Наполеон помолчал.

— Но ведь я ни с кем не воюю!

— Ну, начинайте войну.

— С кем?

— С врагами!

Тогда Наполеон взялся за подозрную трубу — нужды нет, что это были обыкновенные ножницы.

— Ого! — сказал он и прищурил глаз. — Ого!.. Пожалуйста, пошлите два корпуса кавалерии. Мы должны сбросить врагов в залив.

Глаза генерала блеснули, он потер руки.

— Уже! — ответил он. — Враги сброшены!..

— Молодцы ваши кавалеристы! Пожалуйста, пошлите узнать, согласны ли враги на наши условия: нам все оружие, всех лошадей, все корабли, аэропланы и четыреста миллионов золотом.

— Уже послано, — ответил генерал.

— Ну, и что же?

— Они не согласны. Они хотят драться!..

И бой продолжается еще ожесточенней. И если враги были бесчисленны и все пополняли и пополняли свою пехоту, и стреляли из новых пушек, то и у Наполеона все время вполне хватало войска.

И неинтересно, что бой кончился тем, что генерал должен был сесть к столу — есть овсянку, а Наполеон, насвистывая, сошел с террасы к клумбам.

Досадно было, конечно, что Жозефина не приехала. Но ведь не все же время думать об этом! Интересно воевать, а женщины в войне ничего не понимают: они заняты пустяками и боятся, что попугай будет щипать их за ноги, когда он только — адъютант и поручик.

III. Разговор с доктором

Дождь намочил виноградные лозы за перилами, но на террасе только прохладно. Я сел в длинное кресло, протянул ноги и раскрыл над собой розовый зонт — просто в шутку, но тебе тотчас улыбнулась новая игра.

— Знаете что, — заговорил ты, — вы будете дамой, а я буду доктор и приду лечить вашу девочку. Хорошо?

— Хорошо, — ответила дама и поправила зонт.

— Меня зовут Александр Владимирович, а вас Маруся Петровна...
Здравствуйте! — вошел доктор.

— Здравствуйте, Александр Владимирович, — отозвалась дама. —
Вот хорошо, что зашли! У меня нездоровая девочка. Боюсь, что ангина.
Посмотрите ее, пожалуйста!

— Хорошо, сейчас. У вас есть трубка? — спрашивает доктор.

— Нет.

— Ну, у меня есть. А где девочка?

— А вон на перилах. Видите белый хвост...

— Ну зачем «хвост»? — поднял брови. — Это же не попугай, а де-
вочка! Она в ночной рубашке.

— Ну извини!.. Да, пожалуйста, выслушайте, доктор!

— Я сейчас... — и ты подошел к попугаю и постучал ему пальцем в
палец — грудь и крылья. Потом, серьезный, ты вернулся ко мне.

— Ну что? — спросила дама под зонтиком.

— У вашей девочки поражение... аппендицита, — проговорил Алек-
сандр Владимирович.

— Это опасно.

— Да, это опасно. Один процент выздоравливает, а две тысячи умер-
ло.

— Ужасно! — отозвалась дама. — Но девочка поправится?

— Я не знаю, — пожал Александр Владимирович плечами и ска-
зал: — Какой у вас красивый зонт! Где вы покупали?

— В Сан-Франциско, — ответила дама. — Но чем лечить девочку?

— Я сейчас скажу... Давайте ей рыбий жир.

— Но она не любит его.

— Ну, давайте его так: возьмите березового соку и сахару, сделай-
те сладкую-сладкую водицу — и ложку рыбьего жира...

— Чайную или столовую?

— Чайную... Да, а все это средство называется «Колодерма»...

— Понимаю, — отозвалась дама и, усмехнувшись, посмотрела на
свои загорелые руки.

Наступило молчание.

— А мы, кажется, встречались в Петербурге? — спросила дама, ус-
покоив свою веселость.

— Да, встречались, — ответил Александр Владимирович и добавил:
— Ведь у меня тоже есть дети.

— А какой вы молодежавый! Сколько вам лет?

— Да, я очень молодежавый. Мне сорок четыре года.

— А дети большие?

— Да, дети у меня большие. Моему сыну уже пятьдесят два года.

Но тут дама начала хохотать, хохотать, зонтик трясся в ее руке, —
и засмеялся Александр Владимирович. Наконец, ты сказал мне весе-
ло и своенравно:

— Ну, чего вы смеетесь!..

Да, это, конечно, все пустяки: и то, что аппендицит ты лечишь Колодермой, и то, что сын у тебя старше тебя на восемь лет. Все, все пустяки! И ты, безусловно, отлично знаешь немецкую теорию относительности и знаешь новую теорию о происхождении молекулы. И еще ты знаешь, что и немцев обойдут, и Эйнштейна, и другого, — и вот хорошо пахнувшая Колодерма лечит у тебя кишечник, а над временем ты просто смеешься.

И ты прав. Уверяю тебя!

ТУМАН С МОРЯ

Теперь бы пойти на Арбат,
Дорогою нашей всегдашней.
Над городом галки кричат,
Кружатся над Кремлевской башней...

Наталья Крандиевская

Под осень, в августе, бывают здесь дни тихие, солнечные, такие безмолвные в сопках, что легко думается о самом заветном. Я с утра гулял в одиночестве, опираясь на самодельную трость, был спокоен на этих гладких шоссированных дорогах вымершей крепости. Виды отважные — распростертое глубоко море, скалистые островки, океанские дымы на горизонте — открывались с увалов; затем опять гребень закрывает, загораживает море; но небо было всегда огромное. Я доходил, спускался к морю, — гудел раскатистый мерный шум, было открыто, опасливо, — и стоял у намывов прилива, у водного пространства, которое отсюда казалось выпуклым, вздутым. Потом купался. А выкупавшись, приятно раздраженный водяными толчками, я лежал голый, высыхал и загорал... Одиночество, спокойствие, мысли-сны о России...

Однажды, близко к полдню, я услышал оклик: «Мистер», — в канаве, среди голубеньких цветов лежал Намберг, латыш, солдат и вор. Я подошел к нему. «Ну, как живете?» — спросил я для начала, протягивая ему руку. Он был по-прежнему худ, с острым блеском глаз, в чеховской бородке; все та же ватная желтая кацавейка, серые брюки навывпуск, подкованные пыльные боты. Усталый, с облипшими волосами, с мокрым ртом. «Ворую, — ответил он чисто по-московски. — Не хотите ль? — указал он глазами на солдатский сухарный мешок с табаком и усмехнулся: — Американского»... Я стал свертывать. Он закашлялся и плюнул в траву. «Эрман приехал с Камчатки», — сказал он. Эрман был тоже одним из тех, с кем весной я проводил время, участвовал в предприятнях с оружием, с кокаином, с опиумом. Мы жили весело, ибо вправду «есть прелесть в этой поздней, в этой чадной жизни пьяниц, проституток и матросов», потом, летом, разошлись, разъехались. Я смотрел на болезненный интеллигентный профиль Намберга и забывшиеся лица китайцев, корейских партизан, евреев-комиссионеров, неловких спекулянтов, иностранцев-солдат, проституток, опять и опять ожили в памяти...

И вот я вернулся в город. Мы шли туда с Намбергом пешком и уже, не доходя до Мальцевского, были изрядно пьяны. Очень поздно мы переезжали на «юли» на Чуркин. Пьяное воодушевление, бесшабашная ночь на воде, город, огнями вздымающийся, растянувшийся в зареве, иллюминированная, мрачно-живая вода, удушливые раскатистые вопли сирены... Потом мы шли, спотыкаясь, задерживаясь, по твердой темной дороге; огни одиноко просвечивали сквозь деревья, женский голос окликнул нас из палисадника. И этот голос неизвестной женщины опять поразил, вовлек меня в сладостную тревогу — и от слез залучились звезды, густые, над простором осенних сопки. Почему я, с душой столь изболевшей, что она плачет от плача нищего ребенка, — почему скитаюсь я, как преступник, по трупобам, пью горячее китайское пиво в ком-

пании вора? Да, вот стоял я на улице около цветочного магазина, куда зашел за цветами мой причудливый приятель, и две девушки, гордые своими женскими изысканными платьями, своей чистоплотностью, прошли, посмотрев на меня, как на стену. Почему нет мне их внимательной дружбы? Почему не с кем говорить мне о Новалисе, о его любви к маленькой Софье, почему не с кем вспоминать мне наизусть стихи любимых и загадывать будущее? Осеннее небо, ведь я забыл, как сидят за семейным столом, не сумею принять стакан из рук хозяйки!..

Намберг постучал, его спросили, — мы вошли в то особенно острое тепло, где тесно спят, бредят. Я лег рядом с Намбергом, его кацавейка пахла камфарой, — вихрь искр, вызывая тошноту головокруженья, помчал меня... А утром я увидел, какая бедность больных озлобленных людей приютила нас на ночь. Я познакомился с Андреичем, бывшим офицером, а теперь подмастерьем японской парикмахерской, иссохшим ревматиком, отравленным газами и кокаином, познакомился еще с тремя мужчинами и двумя женщинами, из которых одна была пятнадцатилетней девочкой. И у всех та особенная худоба, опухлые линии носа, блеск глаз указывали на страсть «отрываться» от юдоли, безуметь от «хаванья» понюшек сладостного порошка. Мы вышли натошак. Было солнечно, но зябко. Город утренне туманился по ту сторону воды. Мы пошли пешком в Гнилой угол, потому что не имели на переезд. Утро, опять молодое, просторные сопки и ясное небо, вода, живая, прелестная, изменчивая и все-таки таинственная; белые дымки катеров... Около чешских казарм мы сели в служебный поезд и доехали до вокзала. Намберг пошел на Семеновский, продавать кацавейку и мои помочи, а я направился в «американку», в клуб Y. M. C. A.

Вечером, когда начался в клубе кинематограф и опустели зало и верхние коридоры, мы с Намбергом и два русских шофера сидели у камина на плетеном диване и обсуждали одно начинание. Дело заключалось в том, что шоферы, — их было трое всех, — угонят, скрадут автомобиль из гаража одной иностранной миссии и с помощью нас машина эта должна быть продана скупщику, живущему на даче. Поспорив, накурившись до щипанья языка, нагрызя китайских орехов так, что у наших ног образовалась россыпь скорлупы, мы порешили, что шофера приезжают в автомобиле к Луговой улице, где мы ждем их; потом за руль сажусь я и везу Намберга и рыжего шофера, Попова, на дачи, где мы продаем машину и с деньгами возвращаемся по железной дороге; на вокзале нас встретят остальные и производится дележ.

Ночевали мы с Намбергом на вокзале в третьем классе. Утром мы разошлись. Я долго сидел у Невельского, прищуриваясь на сопки Чуркина, на осеннее бодрое сияние воды, и сладостная тоска, тайная радость опять примирляла меня с моей нуждой, одиночеством. Потом я сидел в библиотеке, читал газеты — неизвестные мне, спокойные поэты пели про изысканность, про коварную женщину. Около двух я пришел, доплелся до Луговой, где на углу, на столбике, сидел Намберг в новой для меня серой шляпе и американском дождевике с отстающей спиной. Мы прошли дальше, за трамвайный парк и сели у ворот — и тотчас увидели подкатывающий «каделак» с нашими знаком-

цами; на машине, на радиаторе, висел флажок иностранной миссии. Я был спокоен. Они подошли, пожали нам руки; их деланная рассеянность, беспокойство в покашливании, в нетвердых голосах, удивили меня рядом с будто дремлющим, разодетым, как на свадьбу, Намбергом, — и меня начало трясти. «Ну, принимайте», — сказал Попов. Я поднялся. «Вы, значит, с нами?» — спросил я. «Нет». — «Товарищ ваш?» — спросил я у автомобиля. «Нет, из нас никто не поедет, — ответил Попов, смотря вдоль улицы. — Вы одни там все сладите!.. Ну вот, стало быть, машина. Бензину почти полный бак, только сюда ехали»... — «Ну, ладно, — перебил я, чувствуя, вздыхая, сердцебиенье. — Намберг», — позвал я, и голос мой пересекся. «Здесь», — ответил Намберг за моим плечом. Те двое отошли от нас, скрылись в лавочке. Слабость живчиками холодила меня. Я открыл, поднял для чего-то капот, и смотрел, слушая постукивание машины на малом ходу. Намберг оказался находчивее, он вывинтил древко с флажком и, неся его под полой, влез в кузов, на заднее сиденье. Стояли двое военнопленных у остановки трамвая, далеко, невидимо поднимаясь к Карякинской, гудел-ныл трамвай... Я сел, завалившись, на мягкий стул за рулем, захлопнул дверцу. Опять я был шофером, перед моими глазами просвечивало стекло, а ниже дрожали стрелками циферблаты; педали мешали мне вытянуть ноги. Раздумье, слабые, дрожащие руки и колени, — захотелось мне закрыть глаза и опустить на колени руки. «Поедем», — сказал Намберг тихо за спиной. Нога моя сдвинулась, выключила — нажала конус; я взялся за рычаг и опять услышал скрежет переставленной скорости, — я смотрел под руку, когда вел рычаг. И, подняв осторожно носок, под напором педали, я почувствовал, увидел, как двинулась, легко, без стука, покатилась машина. И я стал выворачивать колесо руля наперерез улицы.

Потом, правда, я осмелел. За Луговой, на шоссе, я опять переставил скрежетную скорость на третье деление и прибавил газу. Мне уже нравилась, воодушевляла эта подчиненность машины — и прежнее покойное мелькание уже возникло по сторонам и впереди, и широкое, ласковое встряхиванье плавных толчков — великолепно, великолепно!.. Рука Намберга протянула мне закуренную сигаретку через плечо; я принял ее рукою же, уже в состоянии держать равновесие одной рукой — и прибавил газу. Сопки разворачивались быстрее, шоссе жило, дрожало, убегая под нас, изумительно разминул я с двумя китайскими подводами, настиг и оставил позади точно на одном месте гудящий трехтонный «паккард» с мучными мешками...

А поздно вечером мы ссорились, матерно ругались под освещенными окнами ресторанчика на углу, под скачущую музыку старой курильщицы-еврейки. Машину скупщик отказался наотрез купить, машина стояла на шоссе, за ипподромом, оставленная нами, брошенная этой тройкой, — они отказались принять ее от нас и привести обратно в гараж.

Было около одиннадцати вечера. Уставшие от перебранки, мы с Намбергом входили в ресторанчик к знакомому сербу, на яркий свет, на пронзительные звуки скрипки. «Здраво, Чедо, — начал я по-сербски, — модем бога»... и, взятый под руку толстым маленьким Чедо, я пошел, ведомый им, за портьеру, на заднюю половину. Намберг кашлял в зале.

ОКТЯБРЬ

Солнце

Сойдя со ступеньки вагона в этот солнечно-холодный полдень, я тотчас испытал пронзительное чувство опустошения, утраты.

Я пошел легко по твердому грунту платформы. Одиночество точно повисло в лазурном воздухе. Дальше, под деревьями, было так же просторно — деревья сквозили в холодной синеве. Под ногами загребались и шуршали листья, пахло крепко. Трава была ржавая. Бурьян в канаве был сер.

Под деревьями разместился и жил японский лагерь. Лошади в недоузках кивали и переминались у жердей коновязи. Темнолицые солдаты в исподних белых рубашах ходили с ведрами и с котелками. Уже отстоялись лужи у бочек с водой. Трещал и дымил костер. У края дороги офицер выговаривал гортанно и непонятно.

А я шел мимо, нес французские книги, камышовую тросточку и вывернутый наизнанку дождевик.

По берегу залива было тихо, — о, над заливом было так пустынно! Лесистый мыс желтел отчетливо. Дачи там, в лесу, на сопке, гляделись теперь открыто...

Было свободно и легко. Было, как откровение: вся окрестность — живая лазурь воды, прохлада тугого ветра, открытое небо, опустошенное и полное голубого холода!

Я ушел от строений, отдалился, идя по насыпи между рельс... А потом остановился, сел на бровке полотна. Я устроил ношу на песке и закурил.

— Вот и октябрь пришел, — глядел я на дым папиросы. — Все опустело — не только одни огороды. Солнце не греет. Расстояние обманывает. Доводится протяжно печалиться... Но о чем? Не о том ли, что прошло лето? Но ведь оно опять повторится. И в самом деле, разве уж так непреклонно это опустошение? И разве нет прекрасного в сквозняке одиночества, утрат, тишины, безлюдья?..

Не позже, как через полчаса, я вхожу в калитку. Кудлатый щенок подкатывается и лает мне на ноги.

— Ага, — протягивает Владимир Николаевич, появившись на крыльце. И сходит мне навстречу, — вот хорошо, что приехали, водочки выпьем... Здравствуйте... А хороша нынче осень! — и загорелое лицо его выражает сердечное изумление и брови приподняты. Но тотчас лицо определяет озабоченность, и он говорит вполголоса: — Скажите, что такое происходит? Японцы-то вернулись... Не угодно ли, — и по жесту его я оборачиваюсь и вижу мелкие белые рубашки и красные околыши японских солдат. — Окопы роют, понимаете? И чем это объяснить?..

— Не знаю, — отвечаю я. — Кто теперь разберется? И осень, на мой взгляд, интереснее...

— Да, осень хороша, — задумывается Владимир Николаевич. — Однако, пройдемте в комнаты, — он трогается. — Ну, что нового в городе?

Тишина

Что ж, пожалуй, часа три бродил я по дачным покинутым аллеям, шуршал по листьям, оглядывался на раскрытые сады — и висел на левом плече моем не только дождевик, но и ноша воспоминаний. С утра.

О, конечно, каждый знает этот медлительный голос, влюбленный в прошлое! Он точно равнодушный, но он вкрадчив. Он точно надменный, но он ревнив. Похоже, что вы стали бы знаменитым актером, если бы был он слышен для ваших друзей. Но слушаешь внимательно: только звенит тишина. И гудят провода телефона...

Лазурь сегодня положительно сурова — вон, между листвой, над дорожкой. Залив отсюда, сверху, — просторнее, открыт. И ни одного паруса.

И вдруг сквозь сады проступает и врывается вполне величаво грохот поезда!..

Наконец, я порешил с аллеями, с закрытыми верандами, с одиноко присевшими китайцами у клумб в пустых цветниках. Я спустился по лестницам на рельсы, перешел их, направился на пляж. Вот скамейка со спинкой...

Да, те призраки, что так удивительны на фильмах: внезапно проступающие и растворяющиеся, — вот что показывает нам полнозвучная тишина.

Я вздохнул и посмотрел на свою руку: загар бледнеет. Но почему так крепок загар внутри, когда солнце, которое уже не светит, не ободряет, скрылось в туманах Леты? И... обернувшись, я вижу, что на меня идет высокая женщина, и тотчас узнаю ее, хотя она иначе одета.

Она подошла, улыбаясь. Жизнерадостный оскал. И походка редкого шага. И серый фетр широкой шляпы. И поднятая до бровей вуаль. И серый шевит костюма со скунсом. И серые шелковые перчатки с черным. А коричневые ботинки были носаты, большие.

— Здравствуйте, l'homme errant, — проговорил неторопливый голос. — О чем печалитесь? О том, что прошло лето?

Я встал, потому что она стояла, и обнажил голову, свидетельствуя преданность.

— Ну, сядем!.. Ну, милый печальник, итак, лето кончилось?

— Кончилось...

— И «осень, облетел весь наш бледный сад»! — Вы изнемогаете от потерь, наслаждаетесь красивой печалью — не так ли?

— Да, осень...

— А знаете ли вы, как это еще называется?

— Нет, не знаю.

— Собачья старость!.. Вы не обиделись — нет?.. Именно собачья старость! Ну о чем, подумайте, тосковать? Вот, однажды я подарила вам чайную чашку, чашка нравилась вам, но все-таки вы ее разбили. И забыли?

— Да...

— Ну, разумеется! А палочка? А фотографии? Все вы потеряли, лирический неряха, о всем забыли... И даже Родину — ведь тоже потеряли? Вспоминаете ли вы вашу маму, бережит ли вас сомнение, жив ли отец, — ведь ничего этого нет, не так ли?.. А вот тут осень. Что же... печальтесь, но не жалуйтесь. Надо быть вот таким же холодным и светлым, как этот день. Помните, весь мир — ваш...

Но опять рванулся грохот. Работая, промчал паровоз, увлекая серые дачные вагоны.

Я оглянулся. Конечно, я был один.

Ветер

Так в осенней тишине дачного запустенья явилась мне моя странница-Муза, спутница Сатурна — опять с тем же лицом и голосом, какие я знал в Москве, в Заволжье, и... когда исчезло ее виденье, испуганное грохотом, я почувствовал, что помимо солнечной тишины есть еще ветер. Ветер, который взъерошил мне волосы, загнул стоймя угол легкого воротника, заставил меня пытливо прищуриться.

Ну, а раз есть ветер, — стало быть, есть жизнь.

В чем ином, как не в движении, выражается наша жизнь?

22 октября 1922 года.

ЗАПИСАННОЕ НА ГАЗЕТЕ

1. О словах

И подумайте, разве можно сказать все убедительно и до конца? Даже если был бы я около вас еще много дней, если бы миновало лето подле вас, и тогда бы я не сумел оказаться точным рассказчиком.

Вот опять ваше лицо взглянуло новым, вот опять я принял чутко еще одно мгновение чуда жизни.

2. Образ

Сырые небеса, сырой ветер, падающие сумерки в улице... — и вы оборачиваетесь быстро, вы касаетесь стены, — и вот ваша женственность в усилии, ваши говорящие глаза, ваш голос ускоренный, все — как сияние музыки!

3. Седое утро

Всю ночь, весь сон я помнил себя: слышал себя. И так же тихо я различил рассвет сквозь острую щель ставней. Ставни были внутренние; вставши, я приотворил их, как ширму.

Сразу и пронзительно глянул на меня весенний, но сплошь в иное расцвет...

Так вот однажды весеннее утро взглянуло на меня.

4. Голос

Я шел подле, шел следом, слева, ступая реже вашего. И раздражение тоской, жаждой, усладой, ликованием, истомой, — вот что говорило вам ту нелепую речь!

И разве я сумею забыть это?

Пусть буду я притворяться очень спокойным, пусть покажусь вам понастоящему рассеянным, — знайте: все существо мое наполняет беззвучно тот же ревнивый голос...

5. Однажды

А еще вижу, как мы проходим тот утренний квартал. И возвращаемся, провожая друг друга — совершенно медлительные, даже странные в это ревущее в трубу труда утро. Город нам не внимал. Город был совсем безразличен к нам. А мы? Может, мы ходили у моря, у его льдов, которые нисколько не раздражают? Может, мы шли в горах, неглубоким ущельем, где, кроме нас, не было даже ни одной птицы...

6. Папироса

Дети часто плачут во сне, плачут во сне и женщины. А мы, самолюбивые мужчины? — пожалуй, мы не плачем. Мы усмехаемся и начинаем говорить о другом.

Но эта сухость глаз порой сияет острым серебром горечи.
Тогда мужчины курят.

7. Задачи для будущего

Пожалуй, мне очень немногого недостает.

Пожалуй, я могу обойтись без книг: всего никогда не перечитаешь. И чужой ум раздражает. И почему я не могу сам понимать жизнь? Кажется, я достаточно внимателен к ней.

Итак, костюм из серого коверкота, фокс, который предан до смерти (я его, конечно, не буду убивать). И еще — папиросы. И весь свет — как на ладони.

Но вот на стене я вижу ваше лицо. Оно улыбается глазами...

ЗАПИСИ НА МАНЖЕТАХ

Метах.

ОВИДИЙ.

Сидя на скамеечкѣ, обтерла

..
ть (ах, в который же раз я
отим исконным?) молоко вы
окноструйно, и дойница за-

го как расписался, — ска-

во ему небесное, — отвѣ-
Лукьяновна, кормилица
каго, убитаго на Соммѣ.

НАЖДЫ.

я красив, а я оказался
го шоффера. И вынесла
питься ваша подросток-
ла и ждала, рѣдко ми-
или дуновенія; а я тя-

же отошел, думал про-
цательную

Когда вижу голубыя марево
ребренные слои облаков и м
ющее полосами далей, — пони
я изгнанник.

Ибо всегда ты, море, ревни
нишь, что есть иное! И память
страдает. Ибо опять она женски
ется: ах, да есть ли что в само
И грустно поет:

— Quicumque adspicias nihie est,
et aer...

СОБАКА.

Она ходила по дому, сквозь
входила к нам, ююкая ногтями—Д
ловерак, бѣлесоватая, точно забры
черноземной грязью. Она забред
стол, переступая там через перек
ноги, ударяла на отлет хвостом. Она
шенно не садилась, лишь приостана
лась, не настораживала ушей; она
салась и не скулила.

— А мы все таки подлецы, —
Алешка, — пьем водку

Аттика

Солнце падающим блеском в глаза растворяло стволы. Старые листья под ногами были уже вечерние. Я зяб, идя, поднимаясь между деревьями. И блеск дрожал, показывая золотой обруч...

— Аттика, — говорила беззвучная память. — Аттика здесь, в северном краю, для тебя, загубленное доверчивое сердце!..

Пойнтер с кофейными змеиными глазами лежал на опушке.

— Цезарь, — позвал я, хотя не знал наверное, как зовут эту собаку. Но «Цезарь» потому, что и я некий галл, воин против великого цезаря Рока — в злобе на врага зову пса его именем.

Цезарь моей судьбы, лесистые холмы чужой Аттики, одинокая память в лесу на июньском закате...

Молоко

Корова стояла у раскрытых ворот, у своего же назьма, свежего сыростью. Она все жевала и жевала — плоской нижней челюстью на сторону. Вот отрыжка заметно прокатилась под кожей живота — пахло ядрено... Ее глаза, синяя добрая эмаль, глядели на меня, на отпахнутое воротитце, где дегтем расписался в августе девятого года Николай Пиглевский, убитый на Сомме....

Женщина-хозяйка, овеяв тем же внутренним, молочным, наземным, подошла и выбранилась не сердясь. Ворча, присела к паху коровы, к налитому жиром живому мешку вымени. Сидя на скамеечке, обтерла соски холстом...

Опять и опять (ах, в который же раз я вдохновляюсь этим исконным?) молоко выбрызгивалось тонкоструйно, и дойница зазвучала.

— Николай-то как расписался, — сказал я.

— Да... царство ему небесное, — ответила она, Анна Лукьяновна, кормилица Николая Пиглевского, убитого на Сомме.

Однажды

Вы думали, что я красив, а я оказался похожим на пьющего шо-

фера. И вынесла мне на крыльцо напиться ваша подросток-сестренка. Она стояла и ждала, редко мигая; волосы ее дыбили дуновения; а я тянул глотками воду.

Потом, когда я уже отошел, думал продолжить свою созерцательную прогулку, пощелкивая гальки тростью, — вы (кто вас заставил?), вы вышли на крыльцо и простились со мной — на расстоянии. Ваше белое платье, ваш исподлобья, капризницы, взгляд, ваши волосы тоже дыбились... Я поднял правую руку, отвечая на приветствие!..

Но не думайте, что я затаил какую-то обиду, горечь. Нет. Ведь может случиться, что наша судьба, зорко берегущая мое большое сердце и его дорогу, вас отблагодарит мужем, с которым вам будет спокойно, как в ваших снах.

Овидий

Когда вижу голубые маревом горы, и серебряные слои облаков, и море, отливающее полосами далей, — понимаю, что и я изгнанник.

Ибо всегда ты, море, ревниво напомнишь, что есть иное! И память, отвечая, страдает. Ибо опять она женски сомневается: ах, да есть ли что в самом деле?.. И грустно поет:

— Quocumque adspicias nihil est nisi pontus et aer...

Собака

Она ходила по дому, сквозь комнаты, входила к нам, цокая ногтями — Джальма, лаверак, белесоватая, точно забрызганная черноземной грязью. Она забредала под стол, переступая там через перекинутые ноги, ударяла наотлет хвостом. Она совершенно не садилась, лишь приостанавливалась, не настораживала ушей; она не чесалась и не скулила.

— А мы все-таки подлецы, — сказал Алешка, — пьем водку, а Джальма — как потерянная. Эй, осиротевшая мать! — окликнул он ее в дверях.

— А сколько было щенят? — спросил серьезный Евгений.

— Четверо, — ответил я.

— А для чего, собственно, их утопили? — спросил Евгений.

— А вот спроси!.. — ответил Алешка, закуривая.

Джальма все еще стояла в дверях. И она смотрела и на меня своей

женской, бабьей тоской, взглядом...

Ее щенят приказал утопить Николай Федорович, хозяин, муж и отец, восхищенно целующий свою годовалую Танюрку.

Сердце

Туман просторных небес, и без солнца и без тени полдень. Мне было отрадно. Удача с утра! И остроту, легкость движения и намерений я предполагал усилить или окончить в застольной беседе. Так вот...

Я выходил из магазина. Со мной был приятель, влюбленный в богородиц Андрея Рублева, и даже отсюда — преданный московской «Альционе»; с нами было вино и прочее — увесистый сверток; и мы пошли в ногу.

— Интересная женщина! — сказал я, замечая изысканную сухощавость, синий шевиот в талию, черную шляпу с парчовыми цветами, — и обходя, оглянувшись, я увидел, — сквозь вуаль, на отдалившемся движении, — ваш екатерининский профиль!..

Как все было потом впопыхах — с моей стороны. Кажется, я мотнулся? Я внимал вашей детскости, вашему доверчивому и быстрому рассказу — может, несколько несвязному? Но ведь я сам же и перебивал!

А потом мы куда-то поехали. Как глупо, должно быть, выглядел я, стоя над вами, в проходе пошатываясь от толчков хода, мешая пройти!

А обратный путь — в тесном купе форда-автобуса; бережно держа на коленях ваши пирожные, касаясь ваших колен, — и все против ваших глаз, ваших глаз!..

Но все-таки (сейчас нахожу силы признаться) я ведь не забывал о свертке в руках приятеля, на тротуаре; он мерещился, как белый факел!

И я сбежал: пообещав, не прощаясь, выпрыгнул на мостовую...

А поздней ночью зыбкое опрометчивое сердце болело тоской.

ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ

Очевидной виновницей путешествия, которое я намерен описать, является голубая банка Кепстэновского табака...

Именно от нее распространился по комнате голубой туман, солнечное утро иных широт раздуло этот туман; стало видно крытую пристань Коломбо; стали чувствоваться густые запахи тамошних базаров; льдистый горьковатый портер обжег и охолодил воспаленную гортань.

Да, надо ехать! — Ибо синяя бухта вон там внизу, подо мной лежащая, поддерживающая пароходы и катера, и катер с серебряным следом, — все это на всю жизнь будет принадлежать мне, как и сквозняк в прошлогоднем апреле, и тонкие светлые волосы, подбившие на ветре черную шляпу...

В эту ночь я видел во сне мать. В длинной кубовой распашонке она вошла ко мне. Глаза смотрели умоляюще, нижняя толстая губа вздрагивала от волнения. «Прошу тебя», — услышал я очень внятно, — и открыл глаза.

Голос еще звучал, но я лежал, завернутый в белое одеяло, на кровати в неряшливой студенческой комнате. Петр Гудзий спал, тихо укрывшись с головой клетчатым одеялом. Голубая Кепстэновская банка, как чье-то лицо, разом выделилась из всей рухляди на комодешке!

Я определил, что голубой рассвет поднялся вполне высоко; он настойчиво близился к персиковому, грозовому. Во всем доме стояла (а может, висела) одинаковая с комнатой тишина.

«Итак, мне нечего терять, ибо я ничего не имею... Итак, начинаем путешествие», — подумал я, закрывая глаза, заведенные дремой...

Несколько подробностей, несколько дней приготовления — я опускаю.

Мы, двое, очень просто доехали по третьему классу до Никольска. А Никольск — город единственный: эта Великая Провинция, что бесследно сгинула в стране, называемой ныне ССР, — здесь она по-прежнему существует, только похудев немного, став задумчивее. Право, сколько тут домов и хат, где буфеты — или просто деревянные двуспальные кровати — не сдвигались с места по десять лет.

В Никольске нас встретили неприятности. Немощенные улицы побеленных особнячков, даже аллей — будто бы крепости, даже проезд к зеленому валу, выезд в безлюдную степь к голубым сопкам, — все это было не то...

Однако в десять утра, во вторник, при сильном ветре, — по улицам гуляли прямо пылевые смерчи, — мы вышли вчетвером (мы — двое, спиртонос, похожий на цыгана, Иван Демьянович и его подручный, хромоногий коротыш Абрам) из города и начали кросс-коунтри почтенной дистанции в 80 верст, и исполнили такое расстояние в двадцать два часа почти безостановочного хода. И так как я сам пишу эти записки, — следовательно, я не попался в руки конным пограничникам

ГПУ, а поэтому, забегая несколько вперед, я могу еще добавить, что заезд наш Никольск — Сандагоу, или, вернее, Катькин завод (китайский винный склад тотчас за пограничной речкой), мы выполнили в приличном виде, а мой друг и спутник Вл. Х, благодаря своему ортопедическому ботинку, совершил поистине георгиевский подвиг.

На сенном базаре мы купили две буханки ситного и два фунта соленого сала. Я успел где-то в дверях порвать дождевик, но это меня мало опечалило. Затем, разделившись на пары с дистанцией в пятьдесят сажен (для безопасности), мы пошли к крепости, к выходу из города.

Путешествие наше вначале было мало занимательно. Дул встречный ветер, вызывая насморк, светило весеннее солнце, после водки за завтраком нестерпимо сушила жажда — впервые познакомился я с капустным запахом корейских деревянных ковшей, заходя, влезая с дороги в корейские фанзы. Некоторое разнообразие, даже сердцебиение, началось было на перевозе у Борисовки.

Паром был на той стороне. Мы подошли и сели в лодку без весел, решив терпеливо дожидаться, — и вот заметили, что на той стороне, возле хаты перевозчика, происходит необычайное: там виднелось несколько солдатских шинелей, а возле них люди с подвод разворачивают, ходят с какими-то бумагами в руках.

— Никак проверка, — сказал вполголоса Иван Демьянович, поправляя козью папаху на голове, — раньше тут не было... Так и есть...

— Что же, паспорта смотрят? — спросил я так же осторожно.

— Да, видать... Документы у вас при себе?

— Есть.

— Оружие при себе имеете?

— Нет.

— Ну, скажите, что в гости идете в Константиновку. Не теряйтесь только.

Мы замолчали. Сделалось облачно, было свежо, после испарины за дорогу даже холодило.

— Знать, можно было бы на лодке пониже переехать, — заметил Иван Демьянович, вынимая папиросы «Василек», протягивая мне.

Так мы сидели в разошедшейся лодке, смотрели, как чешуился рябью Суйфун. И изредка мы передыхали. Изредка мы косились на ту сторону, где по-прежнему деловито протискивались в народе солдаты... И вот я разом утерять нить горестных размышлений: отъехала, запыхала по дороге пара в телеге, а на подводе сидели злополучные солдаты!..

— В Константиновку поехали, — заговорил Иван Демьянович. — Что за шут, что им надо было? — И он шумно и облегченно высморкался на воду.

Дальше, после переезда, опять тянулась дорога, тянул и трепетал тугой встречный ветер, светило солнце над пашнями, где шли-шли бороздами и заезжали на межах лошади в плугах и вместе с ними ходили парни и мужики в зимних еще шапках.

Уже болели ноги, томила жажда и надоедал ветровой насморк.

За Пуциловкой, — там мы напились, зайдя в харчевню, — около корейских фанз мы расположились на обед и закусили салом с хлебом.

Напившись у корейцев, мы снова двинулись в путь, и аллюр наш был больше одного креста. Правда, Ивану Демьяновичу все казалось, что мы идем тихо.

— А где заночуем? — спросил я.

— А нигде, — отвечал он, не оборачиваясь, а только сморкаясь на ходу.

Здорово! Мы прошли полных тридцать верст, а ноги уже сдавали. Очевидно, прохудились мои норфольковские чулки... Но воображаю, что делается с ногой Владимира!

Я оглянулся и увидел, как далеко отстала прихрамывающая пара — Владимир и Абрам.

Но останавливаться было некогда.

По-прежнему дул ветер, напрягался, не слабел; маячили, выступали на горизонтах пашущие фигуры, — а мы шли и шли, спускались к протокам, переходили навозные гати и опять ступали на синеватое пороховое полотно наезженной дороги...

Вечер распространился отменно погожий. Ветер стихнул, пропал совершенно. На зелени выцветающего неба месяц стоял над нашими головами. Прозрела в колебании невысокая звезда. Стали темнее сопки, сделалось отчетливей, сырее. Вода посветлела, стеклянно-небесная, без ряби — в темных берегах.

Мы присели на откосе перед Никольск-Алексеевским казачьим поселком. И вот тут, отъединившись, я порвал письмо и просто заметку, испытывая печаль утраты.

При проходе Никольск-Алексеевского мы опять разделились на пары, и я шел в первой — с хромым Абрамом. В казачьих хатах горели огни, на широкой месячной улице лежали короткие тени, пахло свежим тесом, брехали собаки на дворах. С тремя встречными Абрам вежливо поздоровался. Я шел насвистывая, а внутренне досадовал на бесконечную поселковую улицу — скоро ли ей конец? Мне стало определенно казаться, что мы встретимся с казачьей милицией, и гураны непременно представят нас поутру в Полтавку, в штаб пограничного ГПУ.

Но ничего этого не случилось.

Ночь наступила и двигалась, а мы шествовали сквозь нее, неутомимо увлекаемые... И воистину чудная ночь выпала нам! Мне особенно хорошо запомнилось то, что развернулось после полуночи, когда ходьбою я пересилил сон, а вернее — осилил усталость и опять приобрел постоянную свою внимательность ко всему видимому, ко всей возможной полноте видимости...

Около часа мы плутали. Мы вдруг потеряли дорогу, когда она уперлась в закрытый двор немой, прямо сказочной, корейской усадьбы.

— Что за шут? — пробормотал Иван Демьянович и свернул налево, на долину, на шуршащую, серебряную при луне солому. Соломенное поле продолжалось достаточно долго. Заслышали мы шум потока. Мы спустились к стремнине. Голый лозняк, корявые стволы наклонялись к воде. Мы переправились по стволам и по камням на другой берег. Я остушился и попал в воду — холод и озноб прошли до темени, а в ботинках захлюпало. Опять зашуршал под ногами таинственный месячный соломенный луг. Мы перешли его, пробрались сквозь тальник и... вышли к протоку!

— Вот незадача, — пробормотал Иван Демьянович и взялся за папаху, — Абрам...

...Наконец, мы покончили с потоком. Он остался внизу, за снеговой твердой площадкой. В ночном ропоте быстрой воды звучали голоса, но я, не слушая их, покорно поднимался с компанией на отлогую сопку. Месяц был впереди и низко.

— Скоро месяц зайдет, — сказал хрипло Абрам, — надо бы передохнуть малость...

Мы вышли на дорогу. На этой, темной из-за сопки, дороге Иван Демьянович был задержан конным патрулем.

Мы сошли в сторону и сели. Иван Демьянович тотчас запрокинулся и, — право, моментально, — начал прихрапывать. Улегся и Владимир. Мы с Абрамом стали закусывать.

Месяц стоял совсем низко, точно сидел. Таинственно выглядела ночная окрестность и рокотал внизу слева поток, и тянуло оттуда весенней свежестью... Закусив, протянулся Абрам. Я один остался бодрствовать — надо было протягаться и мне.

Я лег головой на мешок, поднял воротник дождевика, всунул лицом в ворот, спрятал руки, — настойчиво приготовился дремать. Но дремы не было...

Откуда-то пришли голоса, их нес немолчный рокот потока. В тишине раскрытой апрельской полночи заговорили издали-издали — вы, например, мисс Эллен: под солнечным небом в парке Гондатти, в виду мыса Гольденштедт, — в белом платье, уже загоревшая, веселая и «полярно-рассеянная»... Почему ваш голос? Может быть, вы думали обо мне в этот поздний час, покончив с японскими иероглифами, почитав Гумилевские канцоны перед сном. И сохранилась ли у вас та графическая обложка к Гумилевскому «Костру» —

И записи отважных «Капитанов» —
Начало романтического тоста,
Расцветшего мать-мачехой погоста...

Тут я освободил лицо на воздух. Лицо мое обожгла каленая свежесть. Было глухо, все, видимо, изменилось вокруг — месяц закатился. И во мне встала тоска.

Я не мог больше спать. Лондонский дождевик не годился быть спальным мешком, я продрог до крупной дрожи. Я поднялся, и, тоскуя, стоял над спящими товарищами.

Господи, как пусто было в мире в этот час. Пожалуй, только четверо людей существовали во всей сырой и темной вселенной; но и то, трое просыпали свое благородное первородство — свое человеческое сознание... Я не выдержал.

— Иван Демьянович. Владимир Петрович. Пора вставать... Уже зашел месяц. Достаточно отдыхать. Вставайте...

Наконец, все поднялись, за исключением Абрама, расправились и двинулись, пошли ступать наболевшими ногами дальше, — последние двадцать верст. И Иван Демьянович ухитрился спать даже на ходу: его шатало, он спотыкался, встряхивался и опять шел, покачиваясь.

Мы шли, плохо различая дорогу, часто и слышно задевая за камни. Звезды уже не переливались. Они просто гляделись, как булавочные отверстия, на пасмурный свет... Через верст пять у корейских фанз мы растащили омет кукурузной соломы и снова улеглись для сна — не было сил с ним бороться.

Я легко забылся, плотно засунув голову между скользкими снопами, прикрывшись раскидистым снопом, — но все же потерял себя только наполовину: я продолжал зябнуть, временами дрожал собачьей дрожью и лязгал зубами, и мне все грезилось, что колени мои прикрыты клеенчатой скатертью, только что принесенной с мороза. От скатерти я странно попал к вам в переднюю, Юлия Дмитриевна. Осведомляясь о вашем здоровье, я снимал перед зеркалом пальто; разоблачившись, приветствовал вас рукопожатием и пошел следом в гостиную. На низких турецких креслах и на диване в кругу ковра сидели, беседуя, Юлия Львовна, Адель Александровна, Артур Вильямович, Вера Николаевна и неизвестная мне дама — жена бельгийского консула? Я обошел этот мирный круг, целуя и пожимая руки, и вернулся к роялю. В гостиной было вполне добродушно, люстра горела неярко, не всеми рождками.

— Чаю, Борис Васильевич? — сказали вы из-за цветов.

— Очень благодарен.

— С пирогом? Очень вкусный... Пойдемте, — решили вы дружески.

Мы прошли в столовую разными дверями, — я дальней, через переднюю.

Я сел к столу и вот опять ноги мои охватила морозная клеенка, — нет, я был закутан в нее по пояс, даже на спину кто-то безжалостный пристроил полосу этой ознобной клеенки. Ваш разговор, вечерняя столовая с буфетами — стали бледнеть. Вы вернулись с куском пирога, вы придвинули масло... Наш разговор, он был чрезвычайно глух... Да!

— Надо будет переселить сюда Веру Николаевну, — сказали вы вполголоса и громче: — Вера Николаевна.

— Да? — отозвалась Вера Николаевна из гостиной.

— Не хотите ли сюда? — прокричали вы.

Теперь я сидел, разрезая пирог, прихлебывая чай, оборачиваясь к вам налево и к Вере Николаевне направо. Вдруг... дрожь охватила меня внезапно и удручающе. Я задрожал с одышкой и более дробно, чем фоксовая зябкость Рубби. Я опрокинулся, понял, что лежу, стал узнавать запах соломы, и только один ваш глаз, сделавшись синим с серебряной точкой, огромный глаз смотрел на меня. Но... и то не так: это было небо, край неба между снопами и звезда в этом углу...

Дрожь потрясала меня до судорог. Отовсюду, как запах льда, проникал рассветный холод.

— Вставай. Пора идти, — прозвучал чей-то голос.

Я разом двинулся из соломы, выполз, выпрямился, потянулся и пошел на нестигающих ног за серой чуйкой Ивана Демьяновича. Я совершенно не понимал, куда я иду и зачем.

Но вскоре, — через две версты, или через четыре, — голова моя прояснела. Я перестал зябнуть, — утро уже раскрыло окрестность. Мы шли пологой вершиной сопки, малоезженным проселком; поросль дубков по сторонам хранила бронзовые прошлогодние листья...

И вот небо перестало быть дымным, оно раскрылось. Возшло солнце. Иные из сопки стали рыжими. А впереди, — массивной, рыже-аметистовой грядой возвышалась над голубыми сопками, предстояла еще недоступная нам, еще за невидимыми падами и речкой — китайская сторона...

Дорога перестала быть серой. Пыль и засохшая грязь приняли совершенно утренний цвет. Было легко и свободно. Даже ноги мои перестали болеть.

Именно в такие часы чаще всего мне являлась возможность умереть, и каждый раз существо мое даже при виде смертельного падения, при виде трупов, под треск расстрелов твердило в учащенном или падающем биенье:

— Никогда ты не умрешь, — поднимался этот возмущенный голос, — никогда. Все это кажущееся, все это не так, как оно есть на самом деле. Ты — бессмертен.

Мы поднялись еще на одну сопку и стали спускаться. В солнечной долине дымил утренне поселок — Корфовка, последнее жилье на русской стороне, штаб конных солдат ГПУ. Теперь мы должны были пройти эту узкую падь подле Корфовой околицы, на виду утренних хат, подняться по песчаной светлой дороге, спуститься к речке и перейти ее. И воистину, мы все время были единственными во вселенной.

Вот мы поднялись на последнюю сопку.

Теперь я увидал пахарей в последней пади, фанзу на этой стороне, голубой блеск речки и фанзы в глиняных оградах и раскидистые де-

ревья на той, китайской, стороне.

— Пашут гураны, — проговорил Иван Демьянович, сморкаясь на дорогу. — Прошло их время, в аренду корейцам сдавать нельзя... Ну, теперь недолго нам путешествовать. Сейчас перейдем Ашигу, а там уже нет *товарищей*, а есть *ваше благородие*.

Я промолчал. Мы закурили, и Иван Демьянович продолжал:

— Вы меня не бойтесь. Я ведь правильно вас доставил. Я вами не интересуюсь, кто вы такой, заметьте. Это ваше дело. А про себя одно скажу — беспартийный. Я контрабандист с одиннадцатого года и шкуру свою не меняю. Правильно, как по-вашему?

— Правильно, — ответил я.

Теперь мы совершенно спустились и шли низиной к речке. Переходя по камням мелкий, быстрый и чистый поток, Иван Демьянович набрал в пустой бончок воды. Мы напились и пошли дальше. К дереву была прибита некрашенная фанера: «Открыт новы оптова склад спирт мануфактура и разна галантерей. Чжу-фа-хун».

— Вот черти, — проговорил Иван Демьянович одобрительно, — новая конкуренция... Это, вы понимаете, на этой стороне. Вот, глядите. Ашига раньше тут текла, а потом отошла. Вот фанзы...

Заправив руки назад под чуйку, затягиваясь папиросой, Иван Демьянович пошел дальше. Мы миновали вплотную пахаря: рыжебородого, приземистого казака, — он оглядел внимательно нас. Дальше была полуразрушенная фанза, может, в ней помещается кордон? А переход... Мы подошли к речке, к ее невысокому берегу, и Иван Демьянович ступил на лестницу, которой начинался узенький мосток. Ступил и я.

Это был сон, — так была необычайна легкость вступления на тот берег, под развесистую липу. Челюсть моя задрожала — гнет, убийственные вериги, подозрительность почти безумная, — все это осталось там, на солнечной стороне, где опять начал пахать угрюмый казак, где шли ему навстречу две черных, спотыкающихся фигуры — Владимир и Абрам...

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

И снова ветер, знакомый и сладкий...

Н. Гумилев

Только в четыре часа вечера я оставил броневик, — на фронте было спокойно, стрельба в китайском городе прекратилась, — и вернулся домой. Ванна, переодевание, чай, бритье, — все это отняло много времени. Я почувствовал себя свободным в сумерки. Спать не хотелось, наоборот — тянуло на люди. Весело разгоревшийся камин, столовая лампа, какая-то тишина ожидания, — все это сообщало спокойную, даже тайно-радостную волю встретить каких-либо гостей или самому явиться куда-то, возбудить нелицемерную радость...

Именно с таким чувством покинул я свое одиночество, постучался к соседке — добродушной, хотя и отменно нарядной всегда вдове мадам Бро. Меня впустила шестилетняя Лю, чудесный ребенок, моя приятельница, изумляющая меня своими рисунками. Поговорив о маме, мы занялись рисованием. На этот сеанс, по уверению Лю, нам были необходимы только синие карандаши.

И знаешь, что прервало нашу птичью беседу? Нет, не угадаешь. Когда вошел бой и сказал, что меня спрашивает незнакомая дама, я как-то поглубже от догадок. Оставив без объяснения Лю, поспешно (упал мне вслед карандаш со стола) прошел мимо боя в открытую дверь. В коридоре еще не было света. Высокая женщина в длинном пальто стояла у перил лестницы.

— Здравствуйте...

— Трикси! — воскликнул я.

Помнишь ли ты Трикси? Помнишь ли ты, как мы трое в январе 19** года сидели в Екатеринбурге в кинематографе Лоранж, смотрели занятную американскую фильму? Одна взбалмошная девушка там называлась Трикси, — с тех пор Вера стала называться Трикси. Да, правда, ты вскоре уехал от нас, и в Харбине, и во Владивостоке мы не встречались с тобой. А Трикси и я очень часто встречались, особенно во Владивостоке.

Я приглашаю ее пройти в комнату, зажигаю люстру. «Вот моя студенческая келья». Мы садимся, разделенные столом, смотрим друг на друга. Я замечаю в Трикси массу перемен, — а не виделись мы всего пять месяцев: она возмужала, стала спокойнее и улыбается как-то иначе.

Право, не смогу передать тебе всю нашу беседу. Трикси, кажется, начала с того, что заявила мне, что пробудет здесь один день.

— Почему так мало?

— Дела.

— И никак нельзя их отложить?

— Никак.

— Ну, будто бы?.. А вдруг, если они отложатся, скажем, на два дня?

— Нет, никак не могут отложиться, голубчик...

В конце концов мы отправились вместе смотреть итальянскую балерину; у меня не было ни копейки денег, но Трикси сумела уговорить меня, — мы порешили, что будем сидеть, не раздеваясь, на балконе.

Там, в полумраке, мы почти не разговаривали. В глубине, как марионетка, ярко освещенная на черном бархате, двигалась балерина... Во время соло из «Дочери фараона», под флейту, Трикси сказала мне, не оборачиваясь:

— А у меня туберкулез. Задеты обе верхушки...

Я промолчал. И, смотря на балерину в глубине залы, я видел глаза Трикси, точно всегда заплаканные, ее голос, поющий «Тишину». И воспоминания вдруг отстраняли настоящую Трикси, которая два или три раза кашлянула рядом со мной.

Итак, мы вышли опять на свежий воздух. На асфальте остались лужицы от дождя, рикши ждали жеста, чтобы подбежать. Трикси сказала:

— Пойдем куда-нибудь закусить.

Перейдя улицу, мы вошли в японский бар. Нам подали два бифштекса, отдававших сукияки, и харбинской водки. Трикси, не обращая внимания на пожилого японца за стойкой, подняла свой лафитник и мы чокнулись.

В баре я узнал многое. И то, что Трикси действительно замужем три месяца, и что муж ее, ее старинный приятель, служит в дипломатической миссии СССР, и что Трикси в данный момент исполняет обязанности дипломатического курьера... Она улыбалась, глаза ее слезно искрились, щеки порозовели, она прикрылась ладонью: «Кажется, я пьянею». Усталость и бессонница закружили и меня: я точно одеревенел, порою плохо слышал негромкий голос моей вечерней спутницы, — она нагибалась ко мне, и глаза ее улыбались будто с прежней доверчивой искренностью...

Потом, мой друг, мы бродили чуть ли не до рассвета, удивляя ночных рикшей, обращая внимание бессонных полисменов в клеенчатых дождевиках. Мы долго сидели в парке, подле обширного луга, над чьим газоном, когда будет теплее, протянут сетки и более пятидесяти белых игроков одновременно начнут посылать и отбивать теннисные мячи. А теперь была ночная тишина, сырость и луна в высоких тучах.

— Знаете, — говорила негромко Трикси, — я бы хотела сейчас уехать с вами на юг, далеко на юг. Только с вами. Я бы не поехала с женщиной, они надоедают мне...

— А ваш муж?

Она замедлилась:

— Да, я люблю его. Или не люблю?.. Право, мне, — я это чувствовала, — необходимо было выйти замуж. И я вышла. И Николай хороший человек... Только мне с ним скучно. Почему?

И еще раз она говорила о поездке на юг. Но никуда мы, конечно, не поехали. Я поцеловал ее у решетки. «Нет, вы не умеете любить», — сказала она, темная лицом. Я подождал, пока ей откроют двери и отошел без шляпы, пешком дошел до дома.

Два месяца прошло с тех пор, и я ничего не имею от Трикси. Я послал

ей Гумилева и Тагора... И тот вечер кажется мне хорошим рассказом, новеллой чувствительного мастера, вроде какого-нибудь Роденбаха, а не моим недавним прошлым. Видимо, я вовсе не любил ее, эту Трикси с нежным голосом, а любил и люблю лишь одно, куда входила и Трикси, и выпала, как выпадает карта из колоды.

И я могу ехать не на юг, а только на запад, где моя единственная любовь. Опять в Маньчжурию, в Сибирь и дальше, туда, где потерялось мое золотое счастье. Я никого не люблю, лишь эту мысль о потере — о тамошних городах, о небе, о тамошних деревьях и траве, и о воробьях над травой — все, из чего я вырос. Десять, двадцать самых моих лучших из livres за то, чтобы услышать звон далеких колоколов! И я верую, что услышу их.

О ЛЮБВИ К ЖИЗНИ

I. Шанхайская шляпа

Я шел по улице Греньян от консула. Консул опять отказал мне в документах — я оставался бродягой, предоставленным воле жандармов.

При ярком зимнем солнце неистовствовал мистраль в узких улицах, ноги скользили по вылущенным бурей камням.

Я вышел к каналу, на набережную. Густая синева с твердыми плюмажами так волновалась в бухте Старого Порта! Прекрасные парусники — яхты для обеспеченных прогулок — особенно торжественно блистали медью и полировкой, вздымаясь, опускаясь.

Я шел узким тротуаром, широкоплечая тень моя опять оказывалась у ног моих, как только освобождался тротуар передо мною; шанхайская шляпа также отделилась. Я вдыхал стремительную свежесть зимнего моря, иногда глядел во встречные глаза женщин, невзрослых, коротко одетых, угловатых от зябкости; пестрые шарфы на их плечах кидались концами... и вдруг моя десятидолларовая шляпа, вспорхнув с головы, покатилась кубарем, умчалась от меня, — а я бросился вдогонку.

Некий мальчуган, — наверное, из магазина, — решительно наступил на нее. Бормоча благодарность, я ударил шляпу о колено, стал выпрямлять на кулаке, очищать и — увидал на мостовой, у левой ноги, смятую голубую бумажку. Я нагнулся, поднял, спрятал в карман и, надевая шляпу, пошел прочь.

Через квартал я разменял десять франков в угловом табачном баре: купил желтых папирос, спичек и две коротких сигары по четыре су; еще я заказал панаше и, помолодевший, стоял у высокого прилавка.

Опять я вышел на солнце, почти семь франков в кармане сообщали мне бодрую невесомость...

Я думаю, что пошатнуло мое равновесие, смутило благие мои какие-то намерения событие в американском — для иностранных матросов — баре.

Я отворил плавную дверь туда и, встречая спокойствие тепла, услышал фокстрот механического джасса. Я сел у стеклянной матовой стены, за которой жила музыка, и спросил Кап-Корса. Именно здесь я был в последний раз с затравленным Леней: мы пили пиво. «Однако, — думал я, отхлебывая вино, — чертовски холодно было и ему, которого везли в легион, броситься с парохода в декабрьское море. Все-таки...» — но тут думы мои смешались: две женщины, совсем подростки телосложением, потрясываясь дробно, помавая стриженными кудрями, выскользнули из-за перегородки и стали танцевать совсем около меня. Я прихлебывал внимательно из стаканчика, стараясь не смотреть в их искательные глаза. Но танец их волновал меня — телодвижения

и косые лукавые взгляды. Так цепко держались тонкие пальцы и чередовались два нежно синеющих подбрityх затылка...

Решительно поднявшись, пошел я к дверям — в баре никого больше не было. И тут они ухватились за меня, лепеча забавно по-английски, пытались удержать, приныкая и, так как я тянул их к выходу, — та, что была в сером пальто, решила на последнее: она поцеловала меня.

Этот поцелуй я вынес на губах на улицу. Отнюдь он не был отличным, поцелуй на лету девицы из бара. А голова моя закружилась.

И вот я свернул с набережной вправо, в переулок, пошел по сырým камням мостовой — по капустным листьям, скорлупе улиток и прочей необходимости старинных марсельских улиц. На верхней улице я нашел нужное: купил полкило ломаных бисквитов. С пакетом в руке я опять спустился вниз и вошел в угловой бар, небольшое и темноватое помещенье.

Место было знакомое: тень несчастного Лени, мутные его глаза чудились мне и здесь, на стене, где умерший, наверное, живописец изобразил Старый Порт в былое время. Я заказал литр красного и вскрыл пакет с бисквитами.

Итак, здесь, уединившись от ветра и ожесточившихся прохожих, я подумаю кое о чем. Вот, сегодня, я видел во сне мать: где-то в темном и узком закоулке я лежал и слышал ее ласковый голос: «Маленькая стеночка, маленькая стеночка». Я насторожился и разобрал иное: «Милый мой сыночек, милый мой сыночек». Господи Боже, ведь матери моей, *моей* мамы нет на этом свете: два года назад, летом, в Харбине, на людном углу, один человек остановил меня, удивился встрече, а потом в разговоре сообщил, между прочим, что мать и отец мои умерли от голода... Стало быть, их нет. Стало быть, этот голос *потусторонний*... но я оглянулся.

Немолодая женщина в клетчатой юбке разговаривала с бледным юношей за стойкой, — шотландский цвет устремил меня к воспоминаниям: я увидел (вашу) сине-зеленую юбку, (ваш) индийский колониальный загар, и глаза (ваши) мне усмехнулись тут, поверх старой живописи простого сердцем художника...

Кружилась моя голова, а вино заедал я бисквитами. За первым я спросил второй литр. Два раза я выходил через задние двери освежиться. А когда я вернулся во второй раз, не оказалось моей шляпы на столе. Улыбаясь, — а я еще мог чувствовать, наблюдать за собой, — я сказал об этом юноше за стойкой.

Два игрока, два старых картежника подтвердили мои слова, один из них помянул араба, только что заходившего. Юноша открыл двери, вышел и, обойдя угол, вернулся в левые двери. Он свистнул и, постояв, прошел за стойку. Вернулся он с клетчатой коричневой каскеткой.

Я отказывался, но меня уговорили принять возмещение. Махнув

рукой, я надел каскетку и сел допивать литр. Все-таки шляпа была моим неодушевленным другом, живым воспоминанием, памятником. И, хотя я работал в ней в порту, она была вполне хороша...

II. Коврик у постели

В общем, я просидел на месте до второго часу ночи. Я что-то задолжал любезному юноше, франка четыре или больше: спрашивал вина, съел порцию макарон с сыром. Все очень жалели о моей шляпе, столь загадочно исчезнувшей, а я находился в состоянии, когда жалость во мне засыпает: кажется, настойчиво, но осторожно я искал случая ошеломить кого-либо удачным кнок-оутом. Но, видимо, моя осторожность была разгадана юношей: еще более осторожно он проводил меня до дверей. И я остался один на тротуаре, на свежем воздухе.

Горели фонари на кронштейнах в узкой улице. Свистал мистраль, было безлюдно. Я пошел, сунув руки в карманы, на набережную. «Черт возьми, — думал я, — как хорошо теперь сидеть у камелька в безлюдном кубрике одной из этих прелестных яхт. А впрочем, там, наверное, паровое отопление? Или водяное?»

Я шел, пошатываясь, преодолевал мостовую. На трамвай у меня не осталось денег, да и куда было ехать?

Вдруг я отшатываюсь, — автомобиль проносится, мужчина и женщина сидят там за стеклами. Выждав, я иду своей неверной походкой по темному следу и — останавливаюсь, изумленный: автомобиль стоит.

— Иди сюда! — кричит мужской голос в дверцу.

Я приближаюсь.

— Ты очень устал, мой друг? — спрашивает мужчина задорным голосом.

Я отвечаю:

— Добрый вечер.

Они смеются.

— Где ты живешь?

— У Нотр-Дам.

— А, в госпитале?

— Нет, в церкви, — отвечаю я медленно.

Они опять смеются.

— Послушай, может быть, ты кюре?

— Ты испанец? — перебивает женщина.

— Да, мадам, я испанец...

И они опять весело смеются.

— Полезай сюда, — говорит мужчина. — Живо!

— Куда вы меня повезете?

— Мы повезем тебя в Испанию! — отвечает женщина.

— Идет. Я ваш. — С этими словами я полез внутрь, воспринимая забытый запах духов, уселся на передний поднятый стул, и шофер помчал нас.

Так сказочно мы стремились куда-то! Смутное освещение и хмельная близорукость мешали мне — да я, кажется, просто задремал.

— Господин кюре! — прокричала женщина мне в ухо. — Выпейте за наше счастье, мы ведь только сегодня поженились!..

— А-а, — бормочу я в непонятном блаженстве.

Мы начали петь, то есть пели они двое, я не знал слов этой песенки о марокканском солнце и только, подпевая, гудел. Женщина хохотала, она бушевала, пьяная от своего женского счастья. Она сорвала с меня каскетку и дергала меня то за ухо, то за волосы. Мы пили коньяк прямо из бутылки, а потом Марсель, — так звали мужчину, — выбросил бутылку за окно — или это мне показалось.

Я вспоминаю теперь тот ночной страх, с которым я поднимался по незнакомой лестнице в неведомый этаж. Помню, лестница была в большой чистоте, ступеньки натерты воском. Я поднимаюсь нетвердо, ударами перчаток по затылку подгоняют меня сзади молодожены, и Марсель кричит время от времени «жа» и «е» — как кричат французы на лошадь, чтобы она повернула налево или направо.

Марсель открыл дверь квартиры, и мы вошли. Вслед за женщиной (я так и не запомнил ее имени) я очутился в спальне, — а, может быть, это была единственная их комната. Меня поразило почему-то голубое с рыжими драконами одеяло на раскрытой постели; драконы светились на шелку, как бы присмирив, а женщина, оставшись в красном платье без рукавов, подергала меня за нос. Я сел на низкий пуф у большого зеркала. Драконы и белизна огромной подушки отражались там. Женщина поднесла мне высокий стакан. И пораженный ужасной спиртной смесью, сквозь слезы последнего сознания, я видел, как хохочет она, ударяя себя по коленям.

Когда, очнувшись, я поднялся, голова моя закружилась тихо. Я спал сколько-то времени на ковре подле кровати с голубым одеялом — спал, точно альковный страж. Люстра горела ярко, в тишине перемежалось дыхание спящих. Маленькая подушка лежала возле моей головы; кукла, желто-черный Арлекин аршинного роста, раскинулась рядом. Я был в пиджаке, в ботинках, только мой шерстяной галстук был развязан, а ворот свитера расстегнут.

Осторожно я поднялся. Они спали крепко на своей широкой кровати, шелковое одеяло сползло одним краем. Женщина лежала нагая, а мужчина в расстегнутой пижаме. Усталы, скорбны были их лица. Я отвернулся.

На столе, на разостланной салфетке остался нетронутым холодный ужин. Но мне нужно было раньше освежиться. Я выбрался в темноту,

осветил спичкой переднюю, зажег электричество и замер, прислушиваясь, ожидая, что буду захвачен, как преступник. Переступая, стал я приближаться к дверям, ошибся, подошел к другим и, наконец, осветил белую засиявшую ванную.

Мне очень захотелось вымыться всему, но я поборол это искушение. Я вымылся по пояс, причесал волосы — брился я вчера. Затем, потушив свет, перетащился я к дверям спальни и вошел в нее.

«Что ж, — думал я, точно отвечал внимательному ребенку, — раз я кюре, я могу, следовательно, поужинать за счет паствы». Я сел к столу, отрезал хлеба, холодный ростбиф и масло привлекали мое внимание всецело. Но предварительно я налил в стаканчик коньяку.

И вот, закусывая, я вдруг замедлил движения и оглянулся. Я как бы просыпался во второй раз: вся эта ярко освещенная ночная комната, безмолвие, неподвижность спящих, сам я с едой во рту, все предстало нагло и пронзительно, повторяясь в ясном зеркале, как чужое...

Второй стаканчик успокоил меня. Теперь я стал слышать тиканье часов, — я присмотрелся: золотые часики с женской руки лежали на столе у изголовья.

Они показывали четверть шестого. «Как мало, однако, я спал: уснул не раньше трех, проснулся около пяти, наверное», — думал я, а сам смотрел на смятые деньги, на кольца и бумажник из красной кожи...

Очень скоро я насытился вполне. Тогда я взял блокнот и чужим стилем написал крупно: «Кюре поел и уходит. Dominus vobiscum». Оглянувшись еще раз, я заметил возле перчаток мелкие деньги и написал еще: «Кюре взял двадцать су за требу. Te Deum laudamus».

Так, с франком в руке, вышел я благополучно из этого ночного дома, спустился осторожно по лестнице, открыл американские замки.

На улице пахло морем, но ветра не было, еще не начинало светать. В синем мраке, сквозя огнями, шел ранний трамвай. Я поехал на площадь Жолиетт.

III. Когда болит сердце

Оно начало болеть после двух черных кофе — в баре. Я перестал курить и даже приоткрыл рот, пережидая одышку, сердечный хватающий трепет.

И, может, было мое счастье в том, что я не попал на работу в это утро. Гудели и завывали сирены в половине восьмого, непрерывно грохотали грузовики, телеги с высокими козлами, бичи стреляли над жирными крупами здоровенных дышловых коней, — а я пошел на мол.

Было это утро облачно. Мистраль стих. В море был туман, вода едва колебалась. Я сел ниже тротуара на один из волнорезов и закурил.

В тумане палевого цвета проходили медленно и беззвучно моторные катера рыбаков. Сердце млело, я выпрямился. Вода ластилась к пористым бокам камней, набегала, набегала — то ли гекзаметром, то ли ямбом.

Я стал думать о Герцене («гекзаметр прибоя») и о Гумилеве («грустят валы ямбических морей»), но мне было *трудно* думать, и сердце не утихало. Я перестал курить и прилег. Два безработных негра прошли надо мной. Дрема опускала мои веки, сердце отпускало железный обруч, благодать спокойствия взяла меня за плечи...

Почти весь день провел я на молу. И сколь прекрасна была моя боль во сне!

Я шел по глубокому снегу среди высоких деревьев, поднимался на склон — мыс Гольденшtedт, парк Гондатти... А вот и дача Толмачевых. Я вхожу на веранду, на мне мое широкое пальто, мохнатый шарф, оленья шапка. Я открываю дверь, она осыпает снег — удивительно пахнет снегом. Вот комната, деревянные панели, винтовая лестница наверх. И еще я вижу серое пальто в плетеном кресле у камина.

Это вы. На серую шляпу с круглым дном, на широкие поля ее поднята черная вуаль с лица (я уже сижу справа от вас), глаза полузакрыты, сумрачны. Руки покоятся в большой серой муфте на коленях, серый воротник лежит по плечам. Молча я оглядываю комнату. Она освещена снежным полднем. Над панелью по всей стене на длинной полке стоят каменные и костяные китайские болванчики, фотографии — я различаю Толмачева в мундире пажа. Все по-прежнему, только вместо круглого стола стоит бильярд, и на него брошены пальто и шубы. Мне кажется, я узнаю зеленую со скунсом; но я спокоен.

— Да это Кексгольмского полка? — указываете вы мне на грудь, приподнимая лицо.

Я, опустив глаза, вижу крест, похожий на мальтийский.

— Ведь я же никогда не служил в Кексгольмском, — отвечаю я. — Я числился по кавалерии, если вы помните? А теперь...

— А теперь? — ваши зеленые глаза удивительно спокойны, они равнодушны.

— А теперь я верю, что единственно прекрасный бой, это бой один на один с жизнью. Не как с врагом, а как...

Но, продолжая наблюдать равнодушие, я опускаю глаза. Я вижу ваши желтые лондонские ботинки, сердце мое вздрагивает, и я начинаю задрожавшим голосом:

— А помните вы тот вечер, когда мы втроем сидели за чаем: вы, Вера Ивановна и я? Вера Ивановна назвала вас королевой за вашу точность, а меня вы упрекнули, что я всегда опаздываю. И когда я стал оправдываться, Вера Ивановна воскликнула: «А, он хочет быть королем!» Я смешался; тогда и в вашем лице, в глазах, мне кажется... Да,

я, боясь покраснеть, сказал, что вы похожи на «Золотую пору» Альмы Тадемы...

— Ну, а дальше? — говорите вы, и лицо ваше розовеет.

— Боже мой, эти же слова сказали вы тогда! — восклицаю я. — Дальше?.. А дальше ничего не было. Правда, ничего?.. Я вспомнил все это отчасти в связи с историей двух подруг: Нетти и Сенди. Одна из них была больна свинкой, они ежечасно обменивались письмами.

— Зачем вы это мне рассказываете? — спрашиваете вы негромко.

— Бог знает! Может быть, потому, что Сенди любила «Разговоры с дьяволом» Успенского и...

— Нет, нет, нет, — повторяете вы, — я...

Но в это время дверь наверху отворяется, контр-мэтр третьего сектора Гастон кричит мне оттуда, чтобы я нагрузил на лифт одну пустую большую тачку.

В самом деле, сидим мы не у камина, а у темной пасти товарного лифта...

Этот сон я вспоминал на Жолиетт, сидя недалеко от фонтана. Я вспоминал и закрывал глаза, а в свежем воздухе вечера фонтан все плескался. Здесь пахло водой и крепко веял запах конской стоянки: днем тут стояли ломовики. Я слушал фонтан и вспоминал холодные утра в декабре, мрачную, еще ночную площадь и этот плеск, желтые огни барок и зоревые облака над высокой темнотой крыш.

В первом часу я постучался на кухню ресторана к Тромбергу. Он уже кончил уборку, снял свой синий фартук, сидел за столом под лампой — писал письма. Меня он встретил молча. Молча и я стал готовить себе постель: положил рабочую синюю куртку и штаны, покрыл их свитером. Газеты были моими простынями, крышка стола — кроватью, пиджаком я покрылся.

Я лежал в тени и смотрел на утрюмое лицо Тромберга. Дрема заводи́ла глаза.

IV. Восемнадцать часов

Проснулся я в третьем часу, и мы разговорились. Тромберг от написанных писем (двум невестам: в Нарву и в Тверь) казался охмелевшим — ему необходимо было высказаться до конца. Он разыскал где-то бутылку Барзака, положил на стол папиросы, — и я вынужден был спуститься с моей кровати,

А в двадцать минут шестого я был на Жолиетт и тотчас же попал на первый секцион в экип Канари: мы начали на час раньше, начали возить на больших тачках и таскать на себе, возить по триста кило, тас-

коть на спине сто и сто десять.

Таким образом я работал до обеда пять часов и после обеда еще пять. Последние дни, голодные, но хмельные, сказались во время работы: я потел, колени тряслись, когда я нес на спине мешок. Временами я отчаивался, намеревался бросить, уйти, но веселый корсиканец опять кричал веселое, хлопал меня по плечу, и я ободрялся.

Когда-то я любил спорт: десять часов тенниса в знойный день были мне нипочем. Или прыжки с шестом... А вот теперь я устаю, тоскую. Не правы ли психотерапевты, утверждая, что причиной душевных (и прочих) недугов является ремесло не по нраву?

В половину шестого я получил деньги и пообедал под навесом у итальянки Морисы. Не скажу, чтобы я много съел... Но когда я вышел из-под навеса, намереваясь купить сигару, — мое рабочее счастье воссияло еще раз: казак Василий пригласил меня на ночную работу — на австрийский экспресс.

— Тяжело будет? — спросил я.

— Да Господи ты Иисусе! — возразил он. — Ящички там какие, почта — все барахольное. Не то, что днем. Понятное дело: шеф смирился за день, а люди еще поболее, я думаю. Ну, так как — са ва?

— Идет.

— И чудесно! Ну, первым делом провизией запасемся: по литру вина и какой-нибудь чепухи на закуску. Табак имеете? — спрашивал он уже на ходу.

В девять часов мы начали работу, — литр белого вина прирастил мне крылья насмешливой бодрости. На больших тачках подвозили мы ящики с французскими винами. Обвязанные, взмывали они пачками на высоту к палубам. Как во сне, удивительно невесомый в призрачном свете высоких ламп, возил я свою тачку из пакгаузов, где, как воспоминания, дышали приторно колониальные запахи, — потом шел каменной мостовой к высокой стене океанского парохода. А там, наверху, тоже ярко горели огни, и порою какая-нибудь леди смотрела через перила, рассматривала нас.

Там на палубах били в гонги, сзывая к вкусной еде, играла труба, сзывая команду. Потом, после нашего полночного завтрака, огня стало меньше... В это время и я почувствовал тоску, и спасла меня «бабка», старая француженка: я выпил в ее лавочке на колесах два стакана белого с лимоном. А потом еще три раза мне пришлось подойти к бабке, ибо все тяжелее становилась тачка.

В половине пятого кончился наш лошадиный груд, без четверти пять я получил деньги. Теперь стали заметней темнота и сырой холод. Ноги мои точно выросли: я шел и спотыкался, меня пошатывало. И ни о чем я не думал.

На углу я дождался трамвая и, когда сел в него, яркий свет доконал меня. Я уснул без видений и, проснувшись внезапно, заторопился сойти.

Свежесть рассвета приблизилась ко мне. Я оглянулся — да, я приехал на мол! «Но все равно, — подумал я, — у Тромберга теперь спать осталось меньше часа. Судьба: пойдём на “Николай” к Лукьян Матвейчу».

В баре Гарибальди, сев в угол, я заказал пиво и попросил хозяина разбудить меня, когда придет за молоком русский старик Лука. И сон смирил меня над первым же стаканом...

Я спал весь день и всю ночь до утра. В кубрике горела свеча в фонаре. При свете ее и в отсвете печурки полуголый мускулистый человек (черные волосы падали ему на глаза) стирал белье в большой лохани, и вода исходила паром.

Я заворочался, и мы разговорились. Амос Голубенко, бывший матрос, предложил и мне постираться и помыться. Он сам принес мне горячей воды, уступил мыла, нашел вторую щетку. С радостью облаканного, принялся я за мытье.

V. Мадам Мари и ее друзья

Во втором часу солнечного дня я вошел с Амосом к мадам Мари. Пить мне вовсе не хотелось, но я предполагал отблагодарить Амоса, а приехали мы так далеко потому, что только здесь я мог встретить Василия, когда он не работал: его тоже следовало угостить стаканом вина.

В комнате, неметеной и темноватой за отсутствием окон (свет проходил через стеклянную дверь), за круглым столом, против готического плана колониальной выставки в Лондоне, сидела компания — Василий первым закричал мне. Тут я увидел ротмистра Поллака, лейтенанта Оглоблина, пожилого казака Якова Петровича; все они были очень веселы в обществе двух уличных женщин. Нам очистили место.

Конечно, и на этот раз не обошлось без обычного спора, ссоры, когда противники вскакивают, вино разливается, и прячутся за спины соседей малодушные женщины...

Однако недоразуменье между Поллаком и Василием мы разрешили быстро: Яков Петрович обнял Поллака, я схватил за руку Василия, а соседка моя Жермен отвела пальцем лужу на столе.

Стало опять весело, но тут, пересекая разноголосицу нашу, заговорила, входя, решительная Марья Михайловна, сестра общежития:

— Господа, я к вам с убедительной просьбой: помогите перенести покойного капитана Ершова из его кабины в церковь. Я уже битый час ишу людей, но все решительно ловчат. Алексей Андреевич, Яков Петрович?..

Мы вышли за ней немедленно, — один Василий, виновато улыбаясь, признался, что «дюжо захмелел».

Гусем вошли мы в кабину, увидели разоренное смертью жилище, туберкулезного покойника на занавешенном простынями столе, мертвое лицо его в углу под широким окном, и синеву в окне, и заплаканные глаза маленькой вдовы.

Очень дружно и быстро переложили мы тело в гроб, оклеенный белой бумагой. А потом стали совещаться, как вынести гроб.

— В коридоре вам не развернуться, — говорила Марья Михайловна, став над покойником.

— В коридоре не развернешься, да, — повторял Яков Петрович и посмотрел на меня. — Знаете что, ступайте-ка вы с вашим другом во двор, принимайте, а мы отсель, значит...

Достаточно неловко было принимать гроб в окно. Близость покойника стесняла движения. Я почувствовал испарину и все задерживал дыхание.

Когда мы вернулись к мадам Мари, молчанье пришло вместе с нами. Никто не тронул стакана. Первым заговорил Амос:

— Ну, снимаемся, ваше высочородье? — спросил он меня. — Чтой-то не пьется больше.

— Пойдем, — ответил я.

— Да и я, пожалуй, до хаты, — поднялся Яков Петрович.

«Я поссорился с женой (она была беременна и часто раздражалась) и уехал из Лиссабона в Испанию. Я сносно говорил по-испански, и все сходило вплоть до Севильи. Однажды меня задержали в ночном баре жандармы. Мне угрожала высылка в Советскую Россию, — я записался в легион. Получив на руки деньги, я один, без провожатых, выехал в Африку...» — так рассказывал мне Тромберг.

VI. Happy day

Однажды в Аржентейле, вернувшись в июльский полдень из Парижа, я пошел домой не обычным своим путем, — дорогой в Саннуа, — а перешел под железной дорогой на ту сторону, где было много молодых палисадников и новых небогатых вилл. Там я увидел этот небольшой кирпичный дом в плюще, белые жалюзи и эмалированную дощечку на столбе калитки: «Happy day». Фокстерьер стоял молча за калиткой, а во втором этаже скрипка играла вальс Сибелиуса.

Все это припомнилось мне утром, когда в праздничном пиджаке брился я на площади Карно, пил кофе, чистил ботинки.

Happy day! — Я отправился в трамвае к Нотр-Дам.

На лестнице, что вела в гору, припекало. Я шел не торопясь, останавливался, оглядывался. Шире и шире раздвигалась морская окрестность, зеленые сады, каменные соты города, — и тайная радость трогала мое сердце.

А церковь, мавританская, двухэтажная, с башней в пять этажей, где стояла позолоченная большая Мадонна, благословляя со своей высоты город, лежащий в котловине, — церковь приближалась ко мне медленно, венчая гору.

Я еще раз оглянулся. Теневая пыль стояла над пропастью города. Я прищурил глаза и увидел узкие улицы и открытые магазины, лоск стекол, лакировку бесчисленных обнов, тесноту на тротуарах, блестящие женские глаза, нежную кожу щек и затылков, походки, услышал запахи, картавые голоса...

В нижней сводчатой церкви не было службы. Ее освещал полыхающий свет паникадила, старичок в белой куртке менял свечи, большое распятие было освещено снизу этим светом: бедро у Христа язвилось кровью, голова в терниях поникла, а вокруг и выше развешены были разнокалиберные костыли и восковые слепки ног. И как прибой морской, ходил ветер за толстыми старыми стенами...

Счастье свободы, позолота, синева в окнах купола сияли высоко в верхней церкви! Едва колебались модели шхун и пароходов, подвешенные к люстрам. Играл орган. Священник в кружевах молился у кружевного престола перед золотой Девой, а по стенам звездами прибиты были старые французские палаши, кресты и медали умерших героев... Колокол ударил, загудел над головой, и я вышел на воздух.

Я обходил террасу вокруг церкви, ступал медленно, выжидая случая зажечь спичку за ветром, — как детский берет подкатился к моим ногам. Я подхватил его и выпрямился, видя: льняные волосы мальчика топорщились от ветра, благовоспитанная сестра вела его за руку.

Они оба поблагодарили меня. Я указал им место, где ветра не бывает на этой террасе. Я их проводил и остался стоять, наблюдая.

Я видел молодую француженку почти в профиль: темный румянец ее щеки, укороченную линию носа, изгиб над сомкнутым внимательным ртом, нежную бледность шеи, выступавшей из черно-золотистого кашне. Дочь винодела или адвоката? Нет, она говорит и смотрит иначе: дочь профессора или офранцузенная англичанка, дочь офицера. Светло-коричневое меховое пальто, коричневые чулки, все это я заметил...

А разговаривали мы очень мало. Я назвал себя после того, как перечислил окрестности. Может быть, она была рада, что говорит с иностранцем. Она читала Толстого и Чехова. Она думала ехать в Россию после совершеннолетия. Теперь обстоятельства изменились... Но все, надо полагать, изменится к лучшему, и я вернусь на Родину, о которой, конечно, скучаю...

Оставшись один, я сел на выступ в стене и на остатках блокнота

начал рисовать ее, холодную улыбкой француженку. Я рисовал ее в профиль и удивлялся сходству — не всегда я бывал столь удачлив... Тень пала мне на бумагу: какой-то старик — болезненный, в широком пальто, с тростью. Это он следил за мной.

— Извините меня, — сказал он, — покажите, пожалуйста, вашу работу.

Я встал и протянул ему. Он надел пенсне.

— Хорошо, — проговорил он просто. — Где вы учились?

— Нигде, — ответил я. — Отдельно рисованию не учился.

— Да?.. Не русский ли? — продолжал он по-русски, внимательно смотря на меня поверх пенсне.

— Да, я русский.

— Ну, будем говорить по-русски. Но сядем предварительно, — говорил он по-русски с некоторым усилием.

Он сел, и одышка, которая проступала между его слов, стала заметнее. Потом он заговорил:

— У вас, на мой взгляд, способность к графике. Не знаю, как у вас с колоритом... А средств учиться нет?

— Нет.

— Хотели бы учиться?

— Хотел бы.

Он помолчал, медленно моргая длинными ресницами, опустив голову.

— А чем вы занимаетесь?

— Работаю в порту.

— Неважная работа... А помощь могли бы принять вот такую: вам находят службу, — не портовую, а лучше, предоставляющую возможность учиться... Что вы скажете?

— Я скажу, что буду очень благодарен тому, кто предоставит мне такую работу...

— Прекрасно, — перебил он меня, — прекрасно... Но вот еще что: вдруг это лицо — еврей, а вы — офицер белой армии, несомненно? Вас это не будет шокировать?

— Нет.

Он оглянулся. Невеселые глаза его посмотрели на меня. Потом он отвернулся, опять наполняясь страданием, тщетно дыша...

Он посмотрел на часы и, опираясь на трость, поднялся.

— Больше я не свободен, к сожалению, — сказал он, глядя на меня. — Я вручу вам мою карточку. Пожалуйста ко мне завтра к одиннадцати утра, и мы потолкуем обо всем досконально. До свиданья...

Я проводил его вниз, мы вместе спустились в фуникулере. На улице он сел в такси.

Я остался один. А в городе, по-видимому, начинался праздник...

VII. В зоологическом саду

Без четверти одиннадцать я слезал с трамвая. Номер восьмой я высчитал сразу же и уже не терял его из глаз, так как на дверях его были черные с серебром портьеры бюро похоронных процессий.

— Может, это и к счастью, — подумал я, входя под невеселую арку.

Я миновал столик с траурным листом, дверь у консьержки была открыта: старушка в кресле назвала мне первый этаж, налево.

Я поднялся по короткой лестнице и вошел в незакрытые двери. На мой кашель в переднюю вышла пожилая женщина в провансальской косынке на плечах.

— Господин Рогановский? — спросил я. — Могу я его видеть?

— Видеть? — переспросила она. — Пожалуйста, мосье. Вы уже знаете?

Озноб прошел по моей спине.

— Что? — воскликнул я невольно.

— Мосье Рогановский умер сегодня в пять часов утра.

Мы смотрели друг на друга. Но, право, я не помню лица этой женщины, я помню лишь ее траурную наколку...

— Пожалуйста, мосье, войдите, — сказала она с участием.

Я вошел и увидел большую, темного дерева кровать, человека в сюртуке на ней. Лицо, странно похожее на вчерашнее, отражалось на лице покойника. Черные ресницы плотно лежали на запавших подглазницах.

Я оглянулся, увидел гравюры, услышал запах раньше мне никогда не знакомого жилья, и комната слезно затуманилась передо мною...

Крылатая тень упала на весь мир. Я выпил на углу в баре две рюмки коньяку.

Часа в три я оказался в зоологическом саду.

Я долго следил за львом, как он, избегая, — не пряча, а спокойно отводя куда-то мимо взгляд, — минуя глазами глаза любопытных, прохаживается стесненно, мягко кружит по клетке, останавливается, что-то нюхает гордо, смотрит поверх, мимо нас, и веки его напоминают веки гордого бедняка, больного почками.

Потом я наблюдал нищенские, преступные глаза гиен. Кормил булкой старого, встающего на дыбы медведя.

Здесь же в саду, у длинной изгороди курятника, меня нанял к себе на ферму круглолицый француз с трубкой. Он сам предложил мне 220 франков на всем готовом.

Когда я вторично проходил мимо льва, он по-прежнему казался зевакам гордым босяком (шерсть его местами свалялась), а я уже был работником с фермы, по-праздничному гуляющим заодно с хозяином.

И хозяин мой оказался большим шутником...

КЛАССОН И ЕГО ДУША

Весной двадцать четвертого года в Бейрут зашел норвежский пароход «Мункен Венд».

В команде этого грузовика состоял некий Классон, бывший офицер российского флота; на норвежце, как и на англичанине, на котором он плавал до того, его считали единственно-опытным матросом первой статьи. Он являлся бывалым человеком. Кабаки всего света, начиная, хотя бы, от Иеносу в Нагасаки и кончая антверпенской Шкиперштрассе, были ему хорошо известны. Но о его офицерской службе и о том, что он был женат, никто из его пароходных товарищей никогда от него не слышал.

Восемнадцатого мая, в послеобеденное время, Классон отправился на берег. Об этом он не заявил громогласно, как делали другие; также и не отпросился он в отпуск; сходил он на берег молча и самостоятельно.

Некоторое время, как бы дремотно, курил он в лонгшезе боцмана, скинув колодки с босых ног, протянувшись лениво. Затем курил над бортом, сплевывая в воду. И вслед за этим увидели, как в синих своих штанах, в старом пиджаке поверх тельника, в палубном карнизе, не торопясь, сошел он по трапу и, стоя в лодке араба-перевозчика, поплыл к берегу.

Лодка, как полагается, пристала к таможне. Поднявшись по каменным ступеням, Классон прошел сквозь таможенное здание и в ясный день левантийской весны затерялся в людных тесных улочках старого города Бейрута...

Он проходил крытыми переулками мимо сапожников, шапошников, мимо ювелиров и цирюльников, миновал киоски продавцов сладостей и уборные вблизи мечетей. Удивительно легко чувствовал он себя и нисколько не раздражали его уличные восточные клики и рев ослов.

Так бессознательно вышел он к путаным тупикам, где находились дома свиданий. В одном месте он задержался и наблюдал, не вынимая трубки изо рта: в желтом двухэтажном особняке двери были открыты на улицу, а улица, закруглявшаяся тупиком, была совершенно безлюдна в этот жаркий час. За открытыми дверями, около порога, две женщины на ковре бросали кости и переставляли фигуры на шахматной доске. Та женщина, что сидела слева, была вся на солнце, солнечный свет украсил склоненное лицо ее тенями трогательными, женственными. Она склонилась задумчиво, опираясь на вытянутую руку; браслеты упали на короткое запястье. Ее полные сильные ноги в серых шелковых чулках были открыты на четверть выше колен; ожерелья, монеты шевелились на ее груди. Тревожная радость возникла в груди Классона, какой-то благодатный страх, предчувствие — но, сплюнув, он прошел дальше.

Из некоторых дверей его окликали. Иногда он видел внутренность затененных прохладных комнат, ковровые диваны или широкую фран-

цузскую кровать, белизну одеял — и полуодетая женщина кивала ему. Однако он проходил дальше.

Наконец он остановился: только что распахнулись жалюзи окна и из комнаты, почти темной в сравнении с улицей, молодая арабка жестом пригласила его. Она была в голубом шелковом белье, совершенно не смуглая, едва обозначалась голубая татуировка на ее подбородке. Она кивнула еще раз, и Классон ответил ей — пошел вдоль невысокой решетки к дверям.

Эта арабка понравилась ему. Безмятежность высокого дня продолжалась и с нею. Классон не торопился уйти. Да и сам он своим бритым твердым лицом, золотыми зубами, цветной татуировкой на худых, но сильных руках, пришелся ей по нраву; даже трубка его, длинная и тонкая, любовно отполированная после вчерашней чистки, занимала ее.

Классон дал ей денег на вино. Он лежал и курил, пока ее не было в комнате. Лежал и курил. Ибо так редко бывает человек воистину свободным, воистину счастливым; и тогда он перестает размышлять о счастье...

Пожалуй, он больше выпил, чем она. Но он не опьянел. Наоборот. Она сделалась веселее, исчезла ее арабская застенчивость; обнажившись, танцевала она перед ним, сама себе и ему напевая гортанно. А он, наблюдая, прихлебывал из стакана.

Когда он вышел на улицу, уже стемнело, звезды искрились в левантийском мягком вечере. Сквозь уличные огни пошел Классон к морю. Он выступил на побережную улицу, перешел к цементной изгороди и встал над прибоем; луна освещала дорогу, море и мокрые камни у берега.

В это время две женщины прошли мимо Классона, смеясь и разговаривая, как европейские женщины. Классон уже насмотрелся на лунное море, он двинулся дальше. Две женщины стояли на людном вечернем тротуаре.

— Альджи, — сказала одна, которая была выше, — вы искусно переоделись, но вы разгаданы! Добрый вечер, беспутный бродяга...

— Добрый вечер, Альджи, — повторяет другая.

Классон вынимает трубку изо рта: он совершенно их не знает, никогда их не видел и, хотя он понимает по-английски — какой же он Альджи?

— Ну да! Вы делаете вид, что не знаете нас, что вы кто-то другой. Но стоп! Мы взяли вас в плен. Изумлению дяди Остина не будет границ — знаете ли вы, несчастный, как он вспоминает вас!..

После этого они ведут его под руки. Спрятав трубку, Классон старается приноровиться к этой ходьбе и слышит немолчную болтовню своих спутниц. Меджи и Гляс; он знает теперь их имена, а также узнает, что его собаки находятся у какого-то Денни, что на семейном теннисе у Беккеров в этом году оказался победителем капитан Глендт-

шер из Калькутты, что Мей вышла замуж, что... одним словом, Классон узнал почти все, что узнал бы некий Альджи Девис от этих двух своих разговорчивых приятельниц.

Они шли довольно долго, а рассказы все продолжались. И если взять все выпитое Классоном у танцевавшей арабки, то неудивительно будет, что голова Классона закружилась странно и необыкновенно.

Море и луна открылись им на пустынной дороге уже за городом, и вот в это время (рассказывал Классон) начал он понимать своих спутниц *по-иному*. По-иному совершенно горело море лунным заревом, иначе поднималось небо в недостижимую звездную синеву и... как в знакомое место, Классон перешел с берега по короткому трапу на борт одинокой белой яхты,

Все трое спустились тотчас в тесноватую каюту с мягкими диванами по стенам, с продолговатым столом, в конце которого сидел седой, но мужественный господин, внимательно улыбаясь молодым бритым лицом. Перед ним — пасьянс, небольшие атласные швейцарские карты, и Классону *уже* знакома их рубашка: розовая с золотом...

— Мы стали весело разговаривать и пить чай в этот поздний час, — (так рассказывал Классон два года спустя двум русским в Марселе в баре на Бельгийской набережной) — я ел *свои* любимые сэндвичи с огурцами, хотя, признаться, никогда я их не любил. Мы беседовали, и теперь к двум девицам присоединился еще старик со своими дружескими и семейными воспоминаниями. И, представьте себе, я очень отчетливо видел в ту пору какие-то английские пейзажи средней Англии, тюдоровские дома, газоны, охоты псовые, гольф, чай в темноватых гостиных, куренье и смакованье ароматных спиртов в глубоких креслах курительных комнат, бильярдные партии с одной из барышень, с Меджи, и прочее, и прочее, чего я совершенно не помню и не вспомню никогда, наверное, — но что в те ночные часы было моим.

А потом я поднялся на палубу один. Начинало светать, в море был туман. Каким-то нагим, озябшим гляделся глубокий берег... И я пошел узким трапом на берег.

Мне хотелось согреться, я помню, и я пошел быстрее. Пошел быстрее, лязгая зубами, ругаясь уже вслух. А потом остановился. В голове — жестокое похмелье, полная потеря памяти — как и где провел время. Дотащился до первого кабака и начал поправляться. А потом — на пароход...

И только после случая этой зимой, когда меня ударил вечером по голове негр с «Атлантика», — когда я лежал некоторое время в госпитале — я вспомнил эту страшную ночь подробно. И, честное слово, не знаю, где здесь настоящая правда...

ПЛАН ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Русский, по фамилии Абелунг, сел зайцем на немецкий пароход в Марселе.

Произошло это около двух часов дня, в ноябре; была ветреная и солнечная погода.

Одетый в синий костюм, в коричневую шляпу, свободно — пусть и с замиранием в груди — Абелунг поднялся по трапу. Никто не останавливал его — суeta перед отходом кружила вокруг, носилась над раскрытыми трюмами. Он вышел тем же мерным шагом на спардек и заглянул в одну из распахнутых дверей; свет сквозил в чистый пароходный коридор через открытые каюты. Абелунг оглянулся и шагнул за порог. Слева была открыта дверь на узкую лестницу, закрепленная медным крючком на стене — в углу образовалось уютное пространство, свернутая трубой японская циновка стояла там... Отстегнув крючок, он вошел за дверь, замкнулся за ней и, в жестокой тесноте, укутал ноги циновкой. Тут, поразив его как выстрел, зазвучала немецкая речь, шаги, сильные и спешные, простучали по коридору.

Абелунг стоял в простенке, укутанный по грудь циновкой, слушал тревожное биенье сердца. Сердце, однако, успокоилось скоро. Но начали затекать ноги; беспокоили, давили в заднем кармане коробочка с бритвой и мыльница... Несколько раз гремели по коридору голоса и сильные шаги. И вот, все поглощая, заставив дрожать внутренность, восстал широко и медлительно огромный голос парохода.

Время как бы остановилось. Нечто, похожее на начало бреда или на дрему, овладело сознанием Абелунга. Он закрыл глаза, открыл их, понимая, что электрический свет отражается на потолке... И вот он выведен из закоулка, его рассматривают два лакея в белых куртках, он слышит морской ветер, даже шум волны — и ничего, ничего не отвечает, пристыженный...

Потом его водят, препровождают, он повинуется всем. Некто в галунах берет его руку и смотрит на ладонь. После этого его отводят в помещение кочегаров (глаза у всех подведены угольной пылью, — подчеркнутые, легко отличимые глаза кочегаров), — сажают за стол, дают есть — маргарина, колбасы, кофе с конденсированным молоком. После этого он переодевается в синий, чистый рабочий костюм — преступный стыд не покидает его и тут. В этом костюме он проследовал в высшую комнату; там приказали ему снова раздеться — и новое платье его было уже в угольной пыли. Легкая фуражка со слюдяным козырьком оказалась на его голове, на шее — сетчатая салфетка, на босых ногах — колодки с деревянными подошвами.

Тогда, один за другим, переодетые, кочегары стали спускаться по отвесным, сквозным железным лестницам в разверстое пространство,

где ходили, крутились, шумели, дышали теплым маслом, напатырем или просто металлом глянцевитые полированные машины — спустились до самого железного дна — пола — и прошли к шипящим котлам: право, стремительное круговращение машин, оцепленное мостиками, решетками и лестницами, оставшееся за железной дверью, казалось теперь прохладным, просторным раем!..

Однако часа через два его столбняк рассеялся. Голый по пояс — он сразу же изорвал свой тельник, зацепившись в проходе между котлами, и обжег локоть, — надвинув слюдяной козырек на глаза, Абелунг приловчился сперва кидать уголь в топки, потом подламывать спекшуюся огненную массу саженным пудовым ломом, а еще несколько позже разравнивать ее длиннейшим скребком; и он не забывал больше надевать на руку суконную варежку.

Так стоял он вахту заболевшего кочегара.

Прошло время, их сменили, они поднялись наверх, приняли душ, переоделись, поужинали в полночь, выпили шнапса и легли спать. А утром их опять разбудили на вахту...

Так шло время до Порт-Саида. Абелунг освоился с товарищами. После полудня, — после вахты и обеда, — курил на палубе, смотрел на море, щурился от солнца. Все знали, что он пробирается на Восток, в Китай. А он в свою очередь знал, что в Порт-Саиде ему придется сойти на берег — иначе нельзя. Так объяснил старший механик.

В Порт-Саид пришли на закате; свежий ветер африканской зимы тянул с берега, из каменного города с плоскими крышами высоких домов. Абелунг переоделся в свой костюм. Его позвали к механику, и он получил заработанные у котлов деньги. «Не проговоритесь на берегу, что ехали на нашем пароходе, — сказал механик еще раз. — Желаю счастья в дальнейшем путешествии».

Быстро, по-африкански, темнел воздух, и когда Абелунг садился в лодку, на высоком борту горели огни. Абелунг был растроган, охмелел: старшина вахты Мартенс подарил ему макинтош, отличное английское офицерское пальто кремового цвета; сосед по котлу слева, Шенберг — кожаные новые перчатки, трубку и табак; кроме того, в глубоких карманах макинтоша находилась целая колбаса, бутылка шнапса, узкий хлеб, зеркальце, сигары...

Лодочник греб к берегу. На берегу ожидала египетская полиция — что сделает она с путешественником без паспорта? Вернее всего, вышлет в Марсель. А в Марселе...

Лодка проходила под стеной большого парохода. Это англичанин, какой-то «City», многоэтажные палубы окрашены в темно-желтый цвет... Абелунг указывает лодочнику на трап англичанина. Абелунг опять впадает в столбняк отчаявшейся храбрости и, стоя, набивает трубку.

Заплатив за проезд, он поднимается по трапу. У входа на палубу стоит вахтенный матрос; он облокотился на поручни и насвистывает; индийская прислуга — узколицые люди в пестрых чалмах — чистят

медь рубок. Абелунг идет направо, поднимается по открытой лестнице, вступает на длиннейшую террасу. Он проходит ее медленно и строго; две дамы в меховых шубах смотрят из лонгшезов на огни чужих пароходов, — две дамы, больше никого. Абелунг поднимается этажом выше, на следующую галерею. Но шлюпки на талях еще выше, — и еще одну короткую лестницу одолевает он. Большой воротник макинтоша поднят, трубка потухла. Стараясь не стучать, Абелунг приближается к очереди шлюпок. Они все одинаковы, велики, плотно закрыты брезентами, хитро увязаны по бортам. Но нужно следовать совету Мартенса!

Абелунг заходит в тень. Припоминая упражнения на параллельных брусках, он подтягивается. Булка сломана, но бутылка цела — и... вот брезентовая поверхность, туго натянутая. Теперь преступника видят, разумеется, со всех сторон. Он ложится пластом, находит в кармане нож, раскрывает его. Биенье сердца отдается в горле, но рука сильна, черт возьми, — она вспарывает брезент под прямым углом. Угол этот с некоторой лихорадочностью загибается, и тело, неловкое, глупое тело, начинает проползать внутрь лодки, стучаться, ущемляться, рука снова закрывает брезентовый угол.

Он почувствовал испарину облегчения, переждал, а потом протянулся как мог и, снявши шляпу, с кулаком в изголовье, решил дремать...

Сырость будила его несколько раз за ночь.

Днем, — часы его показывали четверть двенадцатого, — он огляделся, увидал большие банки с галетами, носовую цистерну — хранилище пресной воды (все это на случай кораблекрушения), снял макинтош, воротник, галстук и начал закусывать. Потом курил и думал — мало звуков проникало к нему. И так как трое суток тяжелой работы и короткого сна утомили его, он опять уснул...

Он спал теперь вдоволь. Но ночью второго дня он почувствовал первейшую необходимость спуститься вниз. Он знал, что пароход в Красном море, что пройдены канал и Суэц. Днем он брился холодной водой и такой же водой закусывал галеты.

Он надел воротник, шляпу и, оставив макинтош в своем жилище, высвободился из-под брезента на свежий воздух. Легко, осторожно спрыгнул он на палубу.

Так вот она, свобода! Он расправлял плечи, выпрямлял шею. Мягкий ветер отнес к плечу концы непристегнутого галстука. Он смотрел на звезды, широкий дым из трубы застилал их... С бодростью, но неторопливо, двинулся он вдоль галереи. Всюду была тишина, мало огня горело в этот поздний час на пути парохода в открытом море...

А когда он, распахнув дверь необходимого ему помещения, приготовился выйти, — он замер: молодой рослый штурман ожидал его. Они оба молчали. Абелунг чувствовал свою бледность.

— Прошу вас пройти, — сказал штурман горловым английским голосом, — и прошу вас выслушать меня: известно ли вам, сэр, что поль-

зоваться этим помещением воспрещено пассажирам?

Абелунг промолчал.

— Да, известно, — ответил он наконец каким-то чужим голосом, — но... я спешил.

Моряк пожал плечами.

— Мы не дети, сэр. Это детская поспешность, прошу простить!..

Он оглядел Абелунга, который и сам видел складки на своем костюме, складки даже на отворотах пиджака!..

— Могу ли я узнать номер вашей кабины? — спросил моряк, погля-ывая искоса.

— О, да! — ответил Абелунг, разом опуская руки в боковые карманы пиджака. И вдруг с живостью, совсем ему несвойственной, с детской порывистостью рассказал он молодому штурману свое истинное положение.

Тот оставался все время серьезен и спокоен. Он пригласил Абелунга следовать за собой. Идти было недалеко. В большой каюте сильно пахло английским табаком. По толстому ковру неслышно прошли они к креслам возле курительного столика. Моряк указал на папиросы, на кресло.

— Скажите, прошу вас, — начал он, когда закурили, — что заставило вас путешествовать столь неудобно и... преступно.

Абелунг трясущейся рукой донес папиросу до пепельницы.

— Я отвечу вам, — сказал он прерывисто. — Я еду туда потому, что там моя невеста...

Моряк молчал. Вдруг он бросил свою папиросу в раковину и воскликнул:

— Но чем вы питаетесь? И как можно просидеть два дня в шлюпке?

Абелунг промолчал. Теперь глаза у англичанина были совсем иные, иначе звучали его слова. Он встал с кресла и поглядел на Абелунга продолжительно.

— Вы герой, — сказал он, — вы мой гость сейчас и... — тут молодой англичанин сделал движение совсем юношеское, что очень шло ему.

Таким образом Абелунг, вопреки самым худшим своим предположениям, очень плотно ел в эту ночь, пил хорошее вино и играл дружески в покер — ради времяпрепровождения. Он ушел, унося с собою плед, два раза давши слово, что явится в эту каюту в следующую же ночь.

И он сдержал это слово. Десять раз давал он его и десять ночей играл с молодым Перси О'Кенненом в покер «на ни на что» и сытно ужинал.

На следующую затем ночь — тысяча двенадцатую, как шутили они оба, — он явился, по предложению хозяина каюты, со всеми своими вещами. И когда они поужинали, О'Кеннен сказал следующее:

— Мой дорогой, пройдите, пожалуйста, за драпировку, в мою спаль-

ню. Там вы переоденетесь в мой халат, а ваш костюм я сейчас отдам вычистить. Дело в том, что завтра, вернее, сегодня, мы будем в Коломбо и я хочу, чтобы вы сошли на Цейлоне вполне приличным человеком. Увы, шлюпка № 22 пойдет на Бомбей уже без вас. Я очень рад, что оказался полезен вам, но боюсь, что более продолжительное пребывание в бездействии парализует вашу настойчивость. Не так ли?..

И они сели играть для времяпрепровождения.

Утром подошли к Цейлону. Абелунг смотрел из иллюминатора каюты О'Кеннена на зеленый пальмовый остров, на высокий фонтанный прибор у мола. Когда отошли пароходные катера с настоящими пассажирами, поехавшими покупать цейлонские драгоценности и проехаться в бывший рай в Кенди, к Адамову пику, — Абелунг пожал руку О'Кеннена и сошел по трапу в обыкновенную сингалезскую лодку с соломенным навесом.

И вдруг здесь, на зеленой воде колумбийской широкой бухты, пение печалит и одушевляет его одинокое сердце. «Не вода ли это поет?» — думает он и начинает различать испанские слова и понимает, что он спит на широкой французской кровати, открывает глаза и слышит радостно и вместе с болью, что испанка в соседнем номере этого провансальского отеля поет о любви в Валенсии.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮСЬЕНА

Морские небеса стояли над Марселем, смеркался октябрьский день. Человек, вышедший из хорошего дома возле площади Кастеллян, ничем, собственно, не выделялся среди остальных прохожих. Правда, он был без шляпы, но в наши дни многие ходят без шляп — и еще он был чрезвычайно бледен.

Итак, он шел по улице, ничем внимания к себе не привлекая, и очутился в конце концов на Кастеллян. В это мгновение вспыхнули фонари, зажглись трикира вокруг фонтана, якобы бесконечно обозначилась аллея Прадо и менее протяжно, но люднее и по-городскому заманчивее осветились другие прилежащие улицы.

Человек без шляпы обогнул фонтан, пошел через площадь, приостановился, пережидая цепочку трамвайных вагонов, вступил на тротуар...

Некоторое время спустя его можно было увидеть на Канибьере. Там на переполненном тротуаре он выступал по-прежнему бледный, хотя бледность была теперь присуща многим в этом ярком освещении широкой улицы, в коловращении, в мигании всяческих реклам.

Выйдя к началу Бельгийской набережной, он замедлил: то ли она, эта встречная близость моря (а на море уже царствовала ночь, тьма под звездами), то ли веселое радио на отъезжающих в морскую прогулку катерах его заинтересовало, но он остановился, заложил руки в карманы пиджака. Его обходили, миновали, вокруг переговаривались, теснились, перекликались, кое-кто отплывал в море, за маяки, к замку д'Иф — вечер был удивительно благодатный, с такой старинной проникновенностью отражались, двоились огни в темной воде!

Затем этот прохожий оказался в большом ослепительном кафе на углу — перед высокой стойкой, где белые гарсоны с обезьяньим проворством наливали в стаканы и в рюмки. Он заказал себе Блисса, — не оттого ли, что кто-то поблизости пожелал выпить этого портвейна. Вслед за Блиссом он спросил Сен-Рафаэль — и опять-таки в ответ на чей-то голос, потребовавший Сен-Рафаэль. Но никто, решительно никто им не заинтересовался, даже его явное недоумение над вынутыми деньгами никого не привлекло: медленно положил он на прилавок билет в сто франков и еще медлительней, неуклюжей собрал сдачу и ничего не оставил на блюдечке.

Вечер продолжался, вечер пустел понемногу, приобретал ночную резкость, быстрее прокатывали такси, гремя, опускались ставни колбасных, позакрывались кое-где узенькие бистро... Было за полночь, когда этот странник, окончательно потерявшийся человек, обосновался в

темноте на скамье подле кафедрального собора, ощупывая, но не вынимая две пачки английских сигарет, глухо прокашливаясь от морской сырости.

Сюда, к собору, он поднялся по одной из каменных, вечно загаженных лестниц. А здесь редкие газовые фонари, одинокие скамьи, огромная соборная тень на пустынном возвышенном плацу — все это, казалось бы, никак не располагало ни ко сну, ни к уюту. А он, между тем, все уместался на скамье, все переставлял ноги.

Таким образом он и уснул — тихо, лишь поскрипывая зубами. Всего раз прошел мимо него полицейский, но не тронул, не приостановился, а лишь сладко зевнул, проходя. И вот, время спустя, появился Бог весть откуда, бессонный, простуженный, перхающий осторожно — подлинный бродяга. Он подступил к спящему, мягко ощупал его и с бережной ловкостью вытащил из карманов бумажник, часы, две пачки сигарет, два платка, сдачу из жилета и булавку из галстука. Ближайший, но совершенно отдаленный газовый фонарь как бы задувало с моря, темные призраки летели над морем, а этот, перхая, точно трубя, легчайшими шагами, неслышный в своих вдребезги рваных туфлях, улепетывал через пустынный плац.

Когда человек на скамье проснулся, утро наступило воочию. Светило солнце, внизу на набережной, мимо больших бочек, проныл трамвай. Вокруг собора было по-прежнему пустынно, один полицейский, молодой еще человек хорошего роста, наблюдал в отдалении за странным бездомным; а тот сидел, мигая, пораженный утренним блеском, изрядно продрогший, с отеком лица — затем встал и тронулся прочь.

Чудесное утро было на самом деле свежо, хоть и солнечно. Начался день рабочий, но не всегда ведь работают все. Так что ничего удивительного не было, если в опустевшем по-утреннему баре Феликс, неподалеку от форта Сан-Жан, засиделся докер Марсель Кулон и, довольный (или прикидываясь довольным, ибо похмелье — вещь малоприятная), весело беседовал со стариком-хозяином в вязаном жилете. Марсель говорил без умолку, лишь бы говорить, лишь бы не прислушиваться к внутренним угрызениям, хозяин отвечал спокойно, перемывая неторопливо стаканы, а в это время в бар вошел человек из города без шляпы, с растрепанными волосами, — явно, что кутил где-то. Хозяин спросил его о кофе с ромом, и он равнодушно повторил: кофе с ромом...

Он стал неловко размешивать. Воротник на нем был заметно смят, рука, державшая ложечку, приобрела тот металлический отблеск, что свойствен холеной коже, которую забыли помыть этим утром. Он отвернулся к окнам и начал прихлебывать, положенная на самый край ложечка упала на пол, но чудака не пошевелился. Марсель, приумолкший над своим двойным ромом, довольно покрутил головой — ведь вот же какая птица попадаетеся и страдает. Как наш брат, — но старик Феликс, перемывая посуду, неотступно, подозрительно следил.

Да и дальнейшее вполне оправдало эти подозрения: у странного посетителя не оказалось ни одного су. Без особой живости он шарил по карманам и нигде ничего не находил, и поднял на старика неподвижный, хмельной взгляд. Старик порозовел от гнева, с сердцем встряхивая мокрые пальцы, но Марсель подбросил метко четырнадцать су на цинк — eh, alors?

После этого он первым обратился к чудаку (он продолжал стоять, как невыспавшийся) с предложением выпить чего-нибудь — пожалуйста, без стеснения. И когда тот молча согласился и присел за его столик, Марсель, потирая руки, заказал два двойных коньяка.

Гость, однако, оказался не из разговорчивых, что-то у него сидело на сердце, дело заключалось не в одном похмелье, но Марсель духом не пал; на худой конец, ему подвернулся покорный слушатель, что и требовалось с самого утра.

Они выпили, закурили, выпили еще по двойному рому, после рома выпили по эльзасской белой. Тут-то, вскоре за эльзасской, Марсель заметил, что слушатель его мирно спит. Что же, следовало приютить беднягу, все равно в комнате есть пустая кровать, — и, расплатившись, Марсель вывел нового друга на улицу.

По дороге он узнал очень немногое: что у чудака нет дома, нет работы, — и Марсель сам начал отвечать на свои вопросы, он значительно толковал о соблазнах богатой жизни, о слабостях человеческих и о тюрьме, наконец: а все-таки, она вещь неплохая, эта тюрьма; понятно, лучше ее миновать... но вот он, Марсель Кулон, дважды вкусил казенных харчей... Жизнь пропала, черт побери, приходится гнить тут, среди негров и алжирцев!..

Без особого труда, даже не повстречав никого на лестнице, они поднялись на шестой этаж, вошли в низкую комнату на троих. За раскрытым окном в узкой улице привычно висело вымытое белье, было бессолнечно, уединенно, в углу Рафаэля висела гитара на беленой стене. Марсель сам раздел своего гостя, уложил, заботливо прикрыл. Потом с трубкой он сел к окну подумать.

Ну, разумеется, он не пьян и, даже проспавшись, он не оставит этого чудака. Он будет работать в порту, завтра пойдет на работу. Правда, на первое время из него работник... посмотрите-ка на эти руки. А амуницию эту следует сейчас же продать и купить рабочее (тут Марсель поднял с пола и недоверчиво посмотрел на легкий, хоть и с двойным рантом полуботинок).

В седьмом часу вечера бледный, начисто выбритый человек (без усов лицо его как-то постарело, сделалось угрюмым) сидел против Марселя в погребке у известного Франсуа. Второй литр вина, круглый омлет с луком, кило хлеба, все это поглощалось в молчании. Но и пережевывая, Марсель поглядывал на своего нового друга с удовольствием. Эта синяя роба, исправно залатанная, будет носиться долго — настоящая шанхайская; ботинки совсем новые и не тяжелые; рубаш-

ка, каскетка, новенький шелковый платок на шею за девять франков, сбритые усы, — да сам черт не узнает теперь утреннего интеллигента, что без единого су забрел пить кофе к сумасшедшему Феликсу... Еще очень нравилось Марселю спокойствие Люсьена (так он начал называть своего товарища, перейдя без лишних слов на ты): ведь ни слова не возразил он, когда узнал, что все его великолепие пошло (ну да, по пьяному делу) за сто семьдесят четыре франка.

На следующее утро он, этот выбритый, печальный человек, представлял из себя любопытное и даже смехотворное зрелище: он работал, он стоял вместе с другими двумя на помосте, на который кран с парохода опускал связки по шестнадцать мешков с рисом, и носильщики один за другим подходили к помосту (высотой им по плечу) и уходили в ангар, неся сто десять кило риса в тугом мешке. На обязанности этого чудака было отстегнуть крюк кранной цепи, подвесить на крюк свободный из-под мешков канат и еще помочь двум другим откачнуть, подтолкнуть связку, чтобы опустилась она правильно, — почетная, легкая работа, но как он выполнял ее! Крючок у него не отцеплялся сразу, надетый пустой канат дважды падал в воду, когда цепь взмывала вверх и шла по воздуху на пароход; однажды он сам было едва не полетел с тридцати метров, а в другой раз связка мешков столкнула его с помоста на пол; он был весь в поту, рубаха его потемнела, кругом хохотали, зубоскалили, и только Марсель не смеялся, а яростно переругивался со всеми, в том числе и с самим шефом, краснолицым Пуле, который уж несколько раз посылал «интеллигента» вниз на позорную работу — носить мешки.

На другой день Люсьен не мог пойти работать — он совершенно ободрал нежные неумелые руки свои, все тело его ломило. Тогда решил остаться дома и Марсель; все равно есть работа: следует постираться. Рафаэль, который нежился в кровати, был назначен в поход на рынок — затеивался небывалый буайбес.

В этот же самый час старый Феликс в своем солнечном баре, улутив, наконец, свободную минуту, взялся за газету; постепенно (не было в баре никого) дошел он до третьей страницы — и тут довелось ему посмотреть проницательно поверх газеты, поверх пенсне на старую стенную живопись, где уже шелушилось море, небо и парусники между ними: бледное лицо, перекосившийся галстук, кофе с ромом, четырнадцать су нетрезвого докера — ведь это он, этот самый господин, изображен сегодня в газете: адвокат, после контузии страдает припадками, ушел из дому позавчера, жена умоляет за вознаграждение...

— Марк! — возгласил кто-то, зашедший с улицы.

Под буайбес было выпито вполне хорошо, ибо буайбес способствует чудесной жажде. Всех ударило в испарину после третьей тарелки. Рафаэль, который один из всех спускался за вином, даже набросил полотенце на плечи.

Люсьену из-за рук не пришлось работать и в субботу. Не работал

также и Рафаэль Кассини. В час завтрака, в начале девятого, спустились они вдвоем на улицу.

В общем же, всюду царствовал безмятежный туман, туманная тишина. Если бы он, Люсьен, попытался найти дорогу в порт, он бы ее не нашел, — он подумал об этом, но смутно и без горечи.

Жизнь проблескивала, подобно солнцу за мглистыми облаками. Например, каков из себя Рафаэль? Неизвестно. Существует голос Рафаэля, молодой, повелительный. Голос приказал пойти к Франсуа, пить вино, закусывать корсиканским сыром. Потом голос Рафаэля соскучился, голос начал чередоваться с позевками, с кашлем от затыжки — и Рафаэль куда-то ушел.

А он продолжал коротать время наедине ни с чем.

Впрочем, после вина солнца как бы прибавилось, жизнь приближалась. Узкие улицы, белье вверху, а еще выше — туман лазури. Слева, в глубине покатых темнейших переулков, где догнивал какой-то сор, какая-то мокрая зелень, — блистала голубая бухта. В тенистом быстро играло механическое пианино. На порогах выстаивали полуодетые женщины, будто рябые, почти лиловые от пудры.

На работу он вышел через три дня. За это время Марсель подыскал новое место — работать в трюме.

И вот, в первый раз спускаясь по стене, придерживаясь за ступенискобы, Люсьен впервые почувствовал сердцебиенье, опасность — сорваться с высоты четвертого этажа, потеряться где-то!..

Однако внизу оказалось совершенно легко, свободно и не очень светло. Но никак не в первый день заметил Люсьен, как старается, гримасничает от усилий, тащит и пихает за двоих его товарищ. Правда, он сам был весь в поту, но особенного значения этому не придавал. Наоборот, любопытство, несмелая улыбка его обращалась к постороннему, к ротозейству: вот длинный Мучелли заговорил с трюмным сторожем-индусом, и в это время другой рабочий ловко вскрыл ящик в углу, и потянулись из ящика шелковые дамские чулки, и взломщик с внимательной поспешностью начал обматываться этими чулками, припустив на себе расстегнутые штаны. В другой раз выплеснули воду из бидона и с той же решительной осторожностью полилось в бидон шампанское, вермут, виски, вино. И как весело одурел тогда Люсьен, с какой отвагой кидался он растаскивать ящики, раскатывать бочки, — чудо лишь или просто неусыпное внимание Марселя спасло его от увечья.

Да, Марсель присматривал за ним неустанно. Утром он покупал для каждого на франк будена, четверть хлеба и половину вина. В полдень они вместе обедали где-нибудь на воображаемой террасе подслеповатого ресторанчика, под открытым небом, за облупленным железным столиком. После работы они выпивали по анису. После супа Марсель любил поиграть в карты, но не позже десяти. Люсьену карты были скучны, он молчаливо сидел подле, курил, прихлебывал кофе или

пиво, если мучила жажда. Теперь его все знали и многие полюбили, даже фамилия у него теперь была: Брюн, Люсьен Брюн, кузен толстого Марселя.

Когда начались холода, Марсель купил две пары бархатных брюк и два поношенных пиджака. Денег у них было достаточно, они работали часы и ночи, обзавелись теплым бельем, шерстяными жилетами и шарфами. Несколько раз Марсель запивал, попадал тогда в шикарные заведения на улице Лисицы, платил втридорога за сигары, за вино, а ночевал обязательно с блондинкой в длинном платье; Люсьен тоже следовал наверх, снизойдя к какой-нибудь из женщин, хмельно усмехаясь.

Теперь он достаточно хорошо знал ближайшие улицы, рынок, мог приторговать кусок мяса. Однажды с Марселем он попал в бар Феликса и почти вспомнил его, но сам старик никого не узнал, да никто, впрочем, ему ни слова не напомнил.

Дни проходили за днями. По утрам порою морозило — доводилось выпивать натошак по несколько ромов, но утром стало совершенно темно. Зато сколь отрадно было подняться во время работы из трюма наверх покурить: в ушах, правда, звенело не переставая, грохотала цепь лебедки, шумели кругом на всех пароходах, шум разносился над водой, но зимнее солнечное безмолвие стояло над мачтами, простиралось за молы, к водному горизонту.

Дни проходили за днями и ничем они не отличались друг от друга, разве что вчера работали лишних три часа, а сегодня попалась партия трубок.

Наконец, объявилась весна. Сделалось светло по утрам и после работы, уже лишним стало носить пиджак и скоро можно будет забросить за окно, тряпичникам, жилет из шерсти. Но чувствовал ли он еще как-нибудь весну, этот Люсьен? Например, слышится смех молодой, очень грудастой рыбницы, у которой поверх чулок на круглых икрах — лиловые шерстяные носки, и она постукивает своими сабо, напевая: «O, ma Rosa — Marie-a!..». Да, какое-то стеснение в груди, но сладость его весьма ненастойчива; и самое лучшее после работы — сытым, пораньше залечь спать.

Наступило лето. Уже давным-давно до позднего часа засиживаются за тротуарными столиками, кричат дети в узких улицах, путаются под ногами на маленькой площади, где целыми днями (да и ночами, наверное) сидят на двух единственных скамьях, бродят скучно обновившиеся иностранцы, вечно бессонные, ночующие на пустых из-под угля баржах или под брезентами на набережной.

В июле обоим им придавило пальцы железным бочонком, — случилось же такое счастливое совпадение, ибо один, без Марселя, этот неисправимо мешковатый Люсьен пропал бы сразу, был бы рассчитан в первый же день, став в пару с незнакомым.

Итак, они зажили за счет страхового общества. Целые дни прово-

дили они на море, забирались в глухие места, облюбовали песчаную бухточку, куда пробраться можно было через скалы. Там они лежали на солнцепеке, загорали, спали там, закусывали непринхотливо, запивая в меру вином, оба похудели, почернели, — и как зловонно, как мрачно представлялась по вечерам старинная комната с трех кроватях!

Пальцы поздоровели, но Марсель не торопился с работой. Прошло четыре дня, пока он вечером, над неотпитым стаканом аниса, на долгое время занявшись каким-то письмом, — не объявил решительно, что завтра они выезжают в деревню, в имение господина Фора, на сбор винограда; eh, alors?..

В конце августа к господину Фору приехала его единственная дочь, двадцатидвухлетняя Андриенн, парижская студентка. Через год она должна была окончить факультет права, а сейчас приехала из Жуан-Ле-Пена, где больше месяца купалась и играла в теннис. Вдовый старик был чрезвычайно растроган этим приездом, но спортивной парижанке жизнь в старосветском провансальском доме посреди царства виноградников (у ее отца было до полумиллиона кустов) предвещала невозмутимую скуку. Книг с собой у нее было мало, за книгами приходилось ездить в Арль, море находилось за четырнадцать километров, при доме был какой-то пыльный сад, вернее, огород, переходивший в люцерное поле. Одно удовольствие для Андриенн составляла музыка, рояль Гаво, — и вот всякий вечер она подолгу играла: при отце курить она все-таки избегала.

Этот вечер был на редкость душен, беспокоил, а весь день Андриенн ждала, как бы равнодушно, давно обещанное письмо из Парижа. После ужина она прошла к себе и села за рояль. Играла она с решительным упрямством.

Руки начали уставать. Андриенн подняла упавшие ноты и закурила — вслед за щелканьем зажигалки послышался короткий кашель из сада: кто-то прикашлянул, но мало ли кто? Она положила сигарету к китайскому болванчику, нашла и заиграла веберовское «Приглашение к танцу». Потом наступило опять молчание. Андриенн потянулась за дымящейся сигаретой и приостановила руку: короткий кашель повторился. Тогда, разом вскочив, неслышная на креповых подошвах, она раздвинула цветные висюльки в дверях и выглянула в сад.

На ступеньке сидел неизвестный, по-видимому, рабочий ее отца.

— Что вы здесь делаете? — спросила Андриенн негромко.

— Слушаю вашу игру, — ответил он и неторопливо встал, — у вас весьма отчетливый удар. Только, на мой взгляд, вы чем-то обеспокоены, вы искажаете кое-что. Правда, эти новеллы звучат прелестно, например, в последнем Вебере...

— Как видно, вы любите музыку, — сказала Андриенн, помолчав.

— Да, люблю.

Он возбуждал любопытство. От него остро пахло конюшней, конским потом, давленным виноградом или просто вином, но Андриенн

предложила ему войти. Однако и при свете он продолжал держать себя по-прежнему: невозмутимая простота, благосклонная, удивительная при его одежде, любезность. Кто он такой?

— Может быть, вы сыграете сами? — сказала Андриенн, садясь в длинное кресло.

— Охотно, — отозвался он, — например... менуэт Боккерини?

— Превосходно.

Он сел за рояль, отодвинул табурет, ибо был выше ее, положил руки на колени. От винограда руки его казались окровавленными. «Да, десять часов, а он еще не успел умыться», — подумала Андриенн, прикрывая глаза при первых звуках рояля — и широко открыла глаза: невероятный тарарам, глупейшая какофония разразилась за началом менуэта. Андриенн поднялась с кресла, встал игрок. Она глядела на него пристально: шутник, помешанный, — нет, он был мертвецки пьян, этот тип, он лишь отдувался бессловесно. И, отступив, Андриенн пропустила мимо себя спотыкающегося, ничего не видящего — о, Боже мой!..

Проснувшись не совсем рано, Андриенн задумалась над вчерашним происшествием — загадочный случай. Фернанда, дочь старшего рабочего, внесла ей шоколад. Приняв деревянный поднос на колени, она задержала девочку, расспрашивая безразлично. Кто это из рабочих был вчера сильно пьян? Вот именно, в синей рубашке. А, Люсьен. Приехал на виноградники с кузенком, с толстым Марселем? Так. Что же, он часто выпивает? Не особенно. Работает с лошадьми, прилежный, но не очень сильный? А кто он такой сам по себе? Работал здесь раньше? А, работал в Марселе? Ну, идите, спасибо, Фернанда.

Около одиннадцати она вышла во двор. После затененных комнат блеск зноя поразил, как широкая молния. Андриенн пошла по дороге к виноградникам, под ногами то и дело попадались полусмятые грозди, упавшие с повозок.

Одновременно она увидела подводу и там, дальше, как мелкие цветы среди винограда, пестрые платки и чепцы рваньщиц. Она остановилась и стала ждать. Видно было, как влезают в хомуты лошади, идущие гусем, а рядом шагает неторопливо человек в широкой соломенной шляпе. Вот уже слышно тяжкую и короткую поступь лошадей, их пофыркиванье, постук колес... Андриенн узнает вчерашнюю синюю рубашку и нетерпеливо переступает.

— Добрый день! — кричит она, когда повозка почти равняется с нею.

Рабочий неуклюже приподымает шляпу:

— Добрый день, барышня.

— Как вы себя чувствуете? — кричит она еще и коротко улыбается.

Он натягивает вожжи, они намотаны на левую руку, а руки опять будто окровавлены. Он отвечает вяло:

— Спасибо, барышня. Все идет хорошо.

Андриенн рассматривает его, потом смеется.

— Послушайте, вы не только пианист, вы превосходный актер!.. Итак, когда же вы доиграете менюэт до конца? Хотите сегодня вечером? Что?

— Да, барышня, — отвечает он, а лицо его малоразлично в тени шляпы.

— Да перестаньте же, — говорит Андриенн с укоризной, — за нами никто не наблюдает... Стало быть, сегодня вечером в девять? Только, пожалуйста, не напивайтесь по-вчерашнему.

Она поворачивается, идет бесцельно по дороге к виноградникам. Позади ее раздается зычный крик, лошади подчиняются и стучат колеса.

Андриенн пришла к себе в половине девятого. Она заиграла с особенной охотой, с вниманием. После «Приглашения к танцу» она встала и выглянула в сад: возможно, что этот ценитель музыки опять сидит на приступке. Но никого там не было. Она вернулась к роялю, села и стала курить, глядя на свечу справа.

Без четверти десять Андриенн закрыла крышку, затушила свечи и вышла в сад. Вне всякого сомненья, этот человек проникнул с луга, через канаву. Усмехнувшись, она вошла во двор через калитку.

Во дворе было совершенно тихо, по-ночному; луна положила большую тень от конюшен, от деревьев подле. Окна рабочей столовой были прикрыты жалюзи, там было безмолвно. Откинув полотнище в дверях, Андриенн вошла в коридор, налево была дверь в столовую.

Там горела прикрученная лампа, со столов было уже убрано, какой-то рабочий спал, положив голову на руки. Андриенн прибавила света, мухи залетали, зажужжали несметным роем... и, разумеется, это был он, любитель музыки, полный стакан вина стоял перед ним.

— Добрый вечер, барышня, — сказала, входя с посудой, жена старшего рабочего.

— Это Люсьен? — спросила Андриенн, не оборачиваясь.

— Он. Раньше этого не было. А теперь он все повторяет, — тут женщина засмеялась, — что ему ваша музыка портит настроение, — ну, что вы скажете?

— Вот как? А нельзя ли разбудить его? Я хочу послать его завтра утром...

— Пожалуйста, барышня. Я сейчас подниму его.

Поставив тарелку, она обошла стол и тронула спящего за плечо:

— Люсьен, о, Люсьен, Люсьен же!

Потом она стала дергать его за волосы, ущипнула за ухо. Человек отмахнулся и поднял лицо от рук. Щека у него зарубцевалась, он перележал ее, волосы упали на глаза, рот был слюняв. Он почесался еще — и громкий, постыдный звук раздался в комнате.

— О, свинья, — воскликнула кухарка, совсем не сердясь, однако, — барышня здесь...

Но Андриенн уже вышла из столовой, она широко отпахнула полотно в дверях и прямо взглянула на месяц. Месяц лучился...

Виноград кончился, пришла пора расчета. При выдаче денег и рабочих удостоверений господин Фор предложил: не согласен ли который из двух остаться на зиму? И Люсьен согласился. Марсель вознегодовал, его не успокоили ни две корзины винограда, ни десять литров белого вина, которые он повезет с собой, — но Люсьен остался. Он выбирал спокойствие. На зиму ему обещана теплая одежда и печка в комнате, где он будет спать всего вдвоем.

Сначала они косили люцерну и убирали ее. Затем подошла заплата виноградников, сбор дров на зиму, укутывание виноградников соломой — неторопливая, хорошая работа с неторопливыми, незлыми людьми.

Так прошла зима, для горожан теплая, а в полях мистраль не стихал по неделям. Ничего особенного за зиму не произошло, разве что хозяин подарил на Новый год выходной костюм и от крепкого виноградного спирта у Люсьена произошел сердечный припадок. Случай этот всех изрядно напугал — о, Люсьен, тебе надо поменьше выпивать, слышишь!

Наступила, однако, весна, а за нею, своим чередом, распустилось лето. К осени поспел виноград и приехал Марсель. Друзья обрадовались друг другу и два дня их не было видно на работе. А на третий день Люсьен едва не умер от второго припадка.

Но кончился виноград, и Марсель уехал восвояси. Перед отъездом он пытался сманивать с собой названного своего кузена, но Люсьен остался у господина Фора еще на одну зиму.

В ноябре пришло письмо от Марсея. Он сильно разбил себе руку на работе, пожалуй, кое-что отрежут — неужели не приедешь, Люсьен, навестить старого товарища?

Письмо это читала вслух жена старшего рабочего, сам Люсьен плохо разбирал писанное. По общему совету он сел за ответ, но дело это не ладилось; ему даже предложили очки отца Бернарда, который всегда работал на быках, но очки не помогли. И только перед Рождеством Люсьен собрался в марсельское путешествие. Он вез с собой подарки: хорошее вино, пару бутылок виноградного спирта. У господина Фора он взял две тысячи.

Борниоль проснулся в совершенной темноте, сердце его замирало. Откинув тяжелое одеяло, он сел, передыхая. Что-то непривычное, раздражающее и уже непоправимое существовало не только в этой полночной тьме, но и в нем самом.

Кажется, накануне он был пьян. Это подтверждал вкус во рту, это чувствовалось во всем теле. Но как происходило все, где началось, этого он не мог вспомнить...

Сердце билось с ожесточением, но голова была свежа. Он протянул руку к столику, к лампе, но рука его коснулась женского обнаженного плеча, он стал различать сонное дыхание подле, — как его жена осталась с ним в постели? Поистине странно! И откуда эта широкая кровать?

Столик с лампой отыскался слева. Борниоль включил свет, огляделся и зажмурился, прикрыл глаза рукой. Нет! Неужели он сошел с ума? Нет, что с ним случилось?

Рядом спит незнакомая женщина, эту большую комнату он видит в первый раз, руки его каким-то чудом темны, мозолисты, почти поломаны, и сам он одет в какое-то солдатское полосатое белье!..

Он соскочил босыми ногами на пол, зажег люстру, и таинственное ночное зеркало отразило как бы его самого, как бы его двойника, потемневшее, осунувшееся лицо, изрядную седину в плохо подстриженных волосах.

Он отвернулся, посмотрел по комнате. Женщина по-прежнему тихо спала на правом боку, но женщина его не привлекала. Он заметил бутылки на полу, календарь на стене...

Борниоль закурил английскую сигарету со стола женщины, на своем столе он нашел трубку и серый табак. Он сидел в кресле на чьем-то платье, сидел неподвижно. Он не помнил, он не мог даже смутно хоть что-нибудь припомнить, что с ним случилось за два с лишним года.

За оцепенением родилась спешка. Он начал одеваться на ходу, торопился словно в ярости. Рядом с трубкой он нашел бумажник. Там оказалось около тысячи франков, какие-то удостоверения на имя Люсьена Брюна. Бумажник был явно чужой, но он сунул его в карман просторного пиджака. Большой клетчатый платок пахнул дешевым мылом.

Из дома Борниоль вышел без труда — везде было темно, все спали. Он повернул английский замок нижних дверей и переступил на улицу.

Было месячно, стоял глухой час почти морозной ночи. Он пошел наугад, достигнул угла, повернул налево, затем повернул направо, едва не упал, поскользнулся, раздавив бумажный пакет, выброшенный, наверное, из верхних окон. Наконец, началась улица шире и чище. Он миновал пустой крытый рынок, вышел на узкую площадь. Через площадь за мостовой блистала месячно вода — ага, Старый Порт, знаменитые места, которые он раньше знал понаслышке. Впрочем, по этой набережной он должен был проезжать с женой и девочкой во время автомобильных прогулок...

В угловом баре пробивался свет сквозь двойные щели, будто раздавались голоса. Двери оказались, действительно, не закрытыми, Борниоль вошел на яркий свет, в густое тепло и заказал себе грог у стойки. Тут же он увидел шофера в фуражке гаража Маттеи и нанял. Он даже угостил шофера ромом.

После он мчался по ночным опустошенным улицам и весь дрожал.

И не от холода, а от того, что так неистово дрожало сердце или вдруг замирало. Тогда поднималась слабость, тошнота, он просовывал руку за жилет... но сердце оживало неудержимо, и опять сквозь слезы неслись, лучились перед ним фонари ночного, сурового, давно не виданного города!..

Шофер подъехал вплотную к тротуару, остановил и приготовился к расплате, снял перчатку с левой руки. Но седок медлил. Может быть, уснул? Тут шофер постучал пальцем в стекло. И так как ответа опять не последовало, шофер соскочил на мостовую и открыл дверцу отделения. При слабом электрическом свете, при мерклом пламени своей зажигалки он увидел бледное незрячее лицо седока; послушная, прохладная рука снова упала на колени.

Потерял сознание или умер? Раздумывать над этим, однако, не приходилось, следовало позвонить, в доме, конечно, знают этого человека.

Шофер вошел на ступеньки и позвонил. Месяц дробно светил в черных окнах нового богатого дома, ни одного огня не замечалось по этажам, да и неудивительно было: часы показывали без четверти четыре.

Прошло некоторое время, прежде чем за матовыми пузырьчатыми стеклами, за лакированной решеткой вспыхнул свет, послышался шорох, дверь поддалась, и шофер, приняв на себя приятное тепло, заговорил со щуплым старичком — консьержем. Старик любезно, послушно сошел к автомобилю, и шофер снова засветил свою зажигалку. Не было сомненья, — это они решили согласно, — что седок был мертв.

— Вы знаете его? — спросил шофер.

— Конечно. Господин Борниоль жил у нас около трех лет.

— Тогда... — начал было шофер, но консьерж, не замечая ночного холода, и что ветер шевелит и дымит его длинные седины, продолжал:

— Видите ли, более двух лет назад господин Борниоль таинственно исчез. Да, вышел из дому за сигаретами и газетой и больше не вернулся. Все публикации и розыски оказались бесполезными. Год тому назад госпожа Борниоль вторично вышла замуж. То есть это не совсем гласно, но у нее в данное время другой муж, понимаете? Как же можно в столь поздний час беспокоить людей?.. Самое лучшее вам отвезти его в госпиталь.

— Тогда я пойду поищу полицейского, — сказал шофер не совсем довольным и пошел прочь.

— Советую вам пройти налево, — добавил старичок.

Только тут он почувствовал, сколь пронзительно, неприветливо этой ночью. Искреннее волнение его упало, он пошел к дверям, — но как все-таки изменился господин Борниоль...

ПОХИЩЕНИЕ ФЕРНАНДЫ

Позиции Фернанды.

Разсуждавшие на виноградниках, Гернов прижал к Ариу и остановился у Могеда.

Однажды под вечер сидел он на площади Фортале за грифельной переборкой. Писемный Фредерик Миссраль одиноко возмущался какою-то беззастенчивой иронией между камнями, стеной к Фортале-Ойла, где сидел у надгробья, где англичанки с книгами на коленях... Вернувшись в ту ночь, он увидел, что на него, — он отмахнулся: Артур утешивался ему сохнутыми ртутью.

Когда вышли аперитива, Артур продолжил разговор:

— Помнишь, Николай, вот однажды обновили лишь одну вещь? — Артур говорил по-русски с приваллийскими акцентами, он был из армии Жавога.

— Президиум, забавно! — ответил Гернов, — но помнишь ли напомнишь... Артуру улыбнулся.

— Помнишь ли танцевали в кабаре? И наш разговор...

— Да! — воскликнул Гернов, продолжая, — это относительно Фернанды? Помнишь ли в позиции?

Артур кивнул.

— Да, это. Вот не раздумали?

— А почему не? — Гернов начал плечами, он считал Артура хитрым и в эту минуту, — я в вашем распоряжении...

— Тогда поделитесь, — сказал Артур, подмигивая.

Они прошли в переулок, в широкие двери гаража Гернов подумал: было замечательным, а вот Артура в сторону, но не слышал этого: ну, конечно, слышал еще одно кепутовое крикание...

В гараже Артур все быстро налаживал — очевидно, он не отослал ни этого раз деньги обратно сестре в Берлин; и деньги были разданы, должен быть.

Уже сумерки выстали, когда они вышли из города на дорогу на Саво-

Рассчитавшись на виноградниках, Чернов приехал в Арль и остановился у Жозефа.

Однажды под вечер сидел он на площади Форюм за столиком перед кафе. Позеленевший Фредерик Мистраль одиноко возвышался над безлюдной маленькой площадью между каштанами, спиной к Форюмотелю, где сидели у подъезда две англичанки с книгами на коленях... Вдруг чья-то рука опустилась на плечо Чернову, — он оглянулся: Артур усмехнулся ему сомкнутым ртом.

Когда выпили аперитив, Артур продолжил разговор:

— Помните, Николай, вы однажды обещали мне одну вещь? — Артур говорил по-русски с прибалтийским акцентом, он был из армии Авалова.

— Представьте, забыл! — ответил Чернов. — Но, пожалуйста, напомните...

Артур усмехнулся.

— Помните, мы танцевали в кабано? И наш разговор...

— Да! — воскликнул Чернов, проясняясь. — Это относительно Фернанды? Помочь вам в похищении?

Артур кивнул.

— Да, это. Вы не раздумали?

— Отчего же? — Чернов пожал плечами, он считал Артура хмельным в эту минуту. — Я в вашем распоряжении.

— Тогда пойдемте, — сказал Артур, поднимаясь.

Они прошли в переулок. В широких дверях гаража Чернов подумал было замедлить, отозвать Артура в сторону, но не сделал этого: «Ну, что ж, пусть еще одно непутевое приключение...»

В гараже Артур все быстро наладил — очевидно, он не отослал на этот раз деньги обратно сестре в Берлин; и деньги были порядочные, должно быть.

Уже опустились сумерки, когда они выехали из города на дорогу на Сент-Мари-де-ля-Мер. Серебряное ясное облако несли перед собой фонари автомобиля, стремительно устилали дорогу, выхватывали желтые деревья на обочине; и одно лишь было неудобство, — что Чернов не разбирался в дисках Туринг-клуба и однажды, после поворота, чуть было не наскочил на опущенный шлагбаум.

Над солончаками, над опустевшими виноградниками дул осенний ветер. Заманчивым теплом и светом проносились близко окна редких кабано.

Тридцать километров пропали без промедления. Вот и деревья, раскидистые тени Лоресе, знакомые даже впотьмах канавы орошения...

Чернов, загасив огни, остался с автомобилем; Артур ушел бодро по *этой* боковой дороге.

Две пинии росли в трех шагах от автомобиля. Чернов подошел к первой, похлопал озябшими руками по стволу. Потом он оглянулся на виноградники, на пропавшую в осеннем мраке песчаную равнину ты-

сячи с лишним кустов — морская свежесть тянула оттуда...

Бог знает, сколько прошло времени в одиночестве около темного автомобиля. Чернов накурился, съел два бутерброда и решил пройтись во двор Лоресе — преступления в этом не заключалось.

Во дворе около конюшен он встретил собаку Бистачио, — она узнала и приласкалась, прижимаясь, попятिला. Свет пробивался сквозь жалюзи в конторе — может быть, кто-то просит денег; был свет и на кухне.

Решив посмотреть в кухню, на мать Фернанды, Чернов выступил в светлое окружение, приложился осторожно к щели и отпрянул на хруст шагов.

— Кто здесь? — спросил суровый голос.

— Это я, — ответил Чернов, узнавая бая Питера, старшего рабочего, отца Фернанды.

— Кто? — переспросил Питер, приближаясь, приглядываясь.

— Да я же, говорю!..

— А... Что тебе надо здесь? — Питер медлил зажечь спичку.

Весь облик бая был непригляден, взгляд сосредоточен, зол. Чернов думал, что Артур и Фернанда, наверное, уже встретились около кузницы и бегут обходами к автомобилю, но медлил: с усмешкой осматривал коротконогую фигуру бывшего своего начальника. Ненависть стиснула ему зубы, а бай насупил брови.

— Ступай вон отсюда, э? — сказал он угрожающе.

Но тут Чернов, не вынимая рук из карманов дождевика, ударил его головой в лицо — даже споткнулся от страстного удара, а Питер упал навзничь, ноги его бултыхнули. И Чернов ударился бежать в темноту, к сквозному сараю с люцерной, стремительно обогнул его, перепрыгнул отчаянно и наугад канаву орошения и помчал лугом, строго и вместе с тем весело наказывая себе замечать следы. Но криков погони не доносилось...

Запахавшись, подошел он к автомобилю.

— Дружище, — сказал Артур голосом счастливым, хмельным, — куда вы испарялись? Не навещали ли Марсель?

— А где Фернанда? — спросил Чернов.

— Здесь, плачет в автомобиле, — ответил Артур. — Она не хочет ни закусить, ни пить, и я один выпил полбутылки.

Чернов отворил дверцу и просунул голову внутрь. Он, пожалуй, угадал мерцание ее бледности, ее мрачные великолепные глаза, всю ее, как подростка, небольшую и худенькую. Он услышал ее вздохи, слезное покашливание.

— Мадемуазель Фернанда? Идет, не правда ли? Утрите-ка слезы, — сказал он как можно ласковее.

— Да, мосье. Но мне страшно, страшно. Он везет меня в Германию!..

Но нельзя было медлить из-за ласковых слов — следовало испа-

ряться отсюда. И мотор взревел и, бросив дымные лучи перед собою, сдвинулся, покатил, развил скорость, и опять счастливое призрачное облако света летело впереди, проносилось над дорогой, дымно выхватывало, зажигало, как молния, случайные деревья, одинокий дом при дороге, путника с сумкой, который, может быть, избегал жандармов... И, оглянувшись однажды, Чернов заметил, что счастливые влюбленные целуются, запрокинутые бешеной ездой.

Он привез их прямо на вокзал. Здесь и ему передалась на время счастливая лихорадка бегства. С перронным билетом в руке оказался и он перед вагонами, сцепился, залезал, устраивал.

А потом шеренга сквозных широкими окнами вагонов, освещенная стеклами, кружевными чехлами, путешествующими женщинами, снимающими шляпы, курящими мужчинами, — все это поплыло мягко и сильно, и он, Чернов, остался один с пледом на руке, который был куплен для Фернанды и оказался для них, счастливых, совсем ненужным.

Позевывая широко, Чернов спустился по ту сторону вокзала, к автомобилю. Пора было следовать в гараж!

Р. S. А что касается счастья дальнейшего, — кто будет здесь высказываться об этом? Может быть, Фернанде было и хуже в Берлине, чем в Лоресе. Но может быть — лучше.

И, опять-таки, — кто это знает? Прочитав рассказ о похищении, улыбнувшись, она спрячет его. И не для того ли, чтобы показать внукам?..

СУДЬБА ЖОРЖА ВОЛЫПЕ

Мы приехали с Жоржем в мас утром, — за табаком и за старыми газетами. Позавтракав, мы все время сидели на кухне, шутили с Кармен и с молодой Марцеллой, помогли им чистить картофель — и все время, с табачного голода, курили.

Пообедав, мы поднялись наверх и улеглись на пустых от простынь и одеял кроватях, начали дремать. Пребывала такая полдневная тишина в окрестности, что лишь из конюшни доносилось пофыркивающие лошадей, — стояли там и наши, распряженные и с отпущенными подпругами.

В этой беленой комнате глухие ставни были закрыты, полумрак способствовал дреме. Свесив ноги за край кроватей, мы молчали, против обыкновения не беседовали об Австралии, о Японии, о кочегарской жизни, любезной нам обоим. Светлая пыль простиралась в луче, щелью ложился свет на пол, каменный и засоренный сеном.

Вдруг во дворе послышался дружный стремительный лай, и дальше — крики и говор. Мы оба вскочили с постели, — дремота лишила нас полного сознания. Мы слушали, стоя друг против друга. Потом Жорж нагибается, поднимает свое рыжее сомбреро, спешит к двери, и, неслышные на веревочных подошвах, мы спускаемся во двор.

Мы откидываем брезентовую занавеску. Испанский июньский зной ослепляет нас подобно молнии. Невольно мы приостанавливаемся... И начинаем видеть, что под кроной самого высокого платана, — самого высокого во всей окрестности, — стоят оба хозяина, рыжий Симон, Кармен и Клара — шестнадцатилетняя дочь старшего хозяина, — они все смотрят вверх, на платан. Приближаясь, мы видим, что на платане сидит, высоко вскарабкавшись на ствол, рыжий котенок Клары; тут же прогуливаются виновато Мисс и Леона, борзые, напугавшие любимца Клары.

А Клара готова плакать; она сжимает руки и зовет котенка. Оба хозяина вторят ей, так же, как и Кармен. Молчит один Симон, заглядевшись, как очарованный.

— Э, давай лестницу, — толкает его в бок Жорж. — Не можешь догадаться, значит? — он раскуривает свой окуроч, с которым дремал, и обращается к старшему хозяину: — Сейчас мы доставим его вам!

Жорж не смотрит на Клару при этом, он никогда *не смотрит* на нее. Но я замечаю его волнение: как он поправляет платок на шее и свой широкий пояс; а сигарета его опять потухла.

Симон приносит лестницу, приставляет к стволу, и Жорж поднимается. Лестница не достает до нижних сучьев, но Жорж преодолевает это препятствие... Вот он стоит уже на нижней ветке, котенок выше его головы на аршин.

Все молча наблюдают за ним и... все вздыхают, когда котенок начинает царапаться выше от протянутой руки Жоржа.

— Не надо, не надо, он упадет! — кричит Клара. — Он напуган!..

Но Жорж продолжает взбираться. Сухой и всегда ловкий, он даже шляпу ухитряется не уронить там, среди ветвей. Листва скрывает по временам и его, и котенка, но вот опять появляется желтый комочек меха или нога Жоржа в широкой синей штанине, подвязанной внизу как у велосипедиста, коричневая, загорелая по локоть рука, красный платок его, алый пояс...

Надо сказать, что на этом платане был большой сухой сук; он рос, — а, вернее, не рос, а торчал — высоко, почти равняясь с зеленой маковкой, сам серый, со многими сучками.

И вот на этот сук пополз в страхе своем котенок.

Клара издала резкий крик и зарыдала, Кармен обняла ее за плечи.

— О, Жорж!.. — крикнул младший хозяин. — Оставь его там! Спускайся. Он сам слезет...

Жорж, опустив лицо, смотрел вниз. Неразличимы были отсюда, с земли, его чувства там, в лазури, среди листвы платана. Он молчал и не двигался.

— Нет, хозяин, я достану его, — слышится наконец почти спокойный голос, — дерево прочное, — и он положил руку на толстый сухой сук.

Признаюсь, вслед за дальнейшими движениями Жоржа, у меня началось неприятное переживание. Какое-то обмиранье, холод испытал я, когда на сук выползло во весь рост, четко определяясь в безоблачном разверстом зное, тело Жоржа...

Я чихнул. И этот звук совпал с громким вздохом, *нечто* колыхнулось там, в верху платана!

Жорж пал, как тяжкий куль, вместе с обломком сука. Котенка не было. (Котенок, как говорил мне потом Симон, был все же *в руке* Жоржа. Он скакнул аршина на два и умчался, хвост трубою, в сад.)

Жорж приподнялся на руке. Лицо его как бы потеряло свой крепкий загар, глаза были хмельны, с тяжелыми веками. В тишине, в неподвижности изумления и ужаса, он пытается поднять другую руку, — указательный палец ее отставлен, — но силы оставляют его. Он содрогнулся, как в припадке рвоты, и *что-то* удержал во рту; щеки его надулись. Он упал на бок, протянутая рука, пальцы ее, зацарапали землю, кровь хлынула у него изо рта, засочилась из ноздрей. Нежными и счастливыми стали его *невидящие* глаза. Он всхлипнул и вытянулся.

Тут слышались крики и рыдания, а Симон сказал надо мною:

— Закрой ему глаза.

ПЕПЕЛ

Я очень зяб в этот вечер. В трубу камина столь яростно завывало-дуло, что мне из-за искр приходилось сидеть на два шага от решетки. Я был в шерстяных чулках, ноги мои стояли на высокой скамейке, — и все-таки я замирал от озноба, несмотря на мехом подбитый плащ, которым я прикрылся по настоянию Луки.

Пылкое освещение камина и замирающих свечей отражалось на раскрытых страницах, на моих высоких коленях... Латинские слова начинали казаться греческими, — глаза мои устали. Я откинулся на спинку кресла, зажмурился, слушая бурю.

Вошел осторожно Лука. Не открывая глаз, я попросил его принести мне воды. Мое спокойное одиночество, мысли о латинских поэтах продолжались. Лука принес мне цыпленка и белого вина. Испытывая голод озябшего, я уже приготовился начать ужин, как Лука доложил о приходе старика Беппо, дворецкого моего дорогого друга Виженто.

— Что случилось, Беппо? — спросил я, так как лицо старика являло вдохновенье тревогой.

— Ужас, — ответил он коротко и, шагнув, приостановился. — Простите, сеньор, что я не целую вашу руку: очень возможно, что и я заражен... Ужасное, сеньор! Ваш друг, а мой добрый господин, заболел черной болезнью...

— Что ты говоришь? — поразился я, и книга, не задержанная моими руками, соскользнула с колен на ковры.

— Увы! Это определилось еще с утра. И теперь даже слепой, слыша ужасный кашель, перестанет сомневаться... Это ужасно, сеньор! — и старик издал птичий возглас рыдания.

Я прижал кулаки к горячим щекам, погрузился в кресло. Я слышал звоны пульсов. Пламя в очаге камина ярко вздувалось и осыпало искрами...

— Хорошо, — ответил я, убирая ноги со скамейки. — Я пойду с тобой, Беппо!

— Погода, сеньор... — начал было Лука, но я перебил его:

— Оставь! — и взял с соседнего кресла меховые перчатки.

Лука молча подал мне шляпу и трость — подарок Виженто.

Беппо молчал в это время:

— Я не звал вас, дорогой сеньор! И Лука прав, упоминая о погоде, — на улице так скверно, сеньор! И мой больной господин не наказывал передать приглашение...

Но я, делая вид, что не слышу, молча заканчивал сборы. И, твердо ступая, вышел из комнаты.

Буря на улице тотчас сделала нас почти невесомыми. Стояла темень новолуния. Неаполь точно вымер в эту августовскую ночь. Фонарь Беппо — он пошел особняком — вскоре задуло, но фонарь Луки бережно освещал мне дорогу. Крепко прижимая к лицу три надушенных платка, дыша в них, я шел, пожалуй, без боязни. Мне одного не хотелось: чтобы вихрь обнажил мою голову, напылил, спутал мои длин-

ные волосы... Мы были благополучны в нашем пути — правда, он не был продолжительным. И лишь однажды я вздрогнул от стога в темной нише дома, который мне с детства казался особенно счастливым...

Наконец, мы дошли. Продолжая дышать духами своих кружевных платков, я начал подниматься по знакомой лестнице, не чувствуя себя ни спокойным, ни удовлетворенным.

Там, в той комнате, было достаточно светло. Виженто!.. Его длинная фигура сидела спиной к камину в кресле без спинки.

— А, вы пришли! — слышался дорогой мне голос, будто забытый мною. — Но не ступайте дальше, мой добрый друг! Нет, не стоит!..

— Что с вами? — сказал я очень громко и, как мне казалось, бодро.

— Ничего опасного, — ответил мне ясный мужественный голос. — Я только... умираю...

Наступило молчанье. Виженто повернулся. Канделябры с высокой полки камина теперь осветили его лицо. Оно было спокойно, и даже зной смертельной болезни не окрасил обычной бледности. Но глаза казались драгоценными камнями. Еще было заметно, что моему другу тяжело дышать. Он усмехнулся. Я отнял платки от лица.

— Нет, прикройтесь! — приказал он. — Этим нельзя шутить... Ведь и мне неприятно умирать, поверьте...

— Вы не умрете! — воскликнул я, шагнув невольно.

Он поднял навстречу свою бледную, заметно дрожащую ладонь.

— Осторожно, — сказал он протяжно. — Я вовсе не хочу, чтобы вы...

Но приступ судорог кашля прервал его. Он втянул воздух, он заметно слабел, сидел сгорбившись, держась за боковинки кресла. Длинные ноги его казались чужими. Но раскосые глаза улыбались ласково.

Отдышавшись, он заговорил:

— Мне досадно, что я... уйду, не кончив трех задач. Первая — научить вас понимать апофемы Тертуллиана, — глаза моего друга усмехнулись ласково. — Вторая моя задача — это закончить комментарии к Пьетро Бембо, показать всем глупцам, что «Asolani» вовсе не безнравственная книга. И третья...

— И третья? — повторил я.

— И третья... — погладил, донес он руку до своих коротких темных волос. — Третья, мне хотелось убедить донну Франческу, что действительное отсутствие двух диезов в ее последней канцоне лишает слушателя очарования...

Он замолчал. Я не находил, что ответить ему: вся внутренность моя дрожала поднимающимся рыданием.

— Действительно, — продолжал он и склонил голову, облокачиваясь и подпирая щеку своей большой узкой ладонью, — если бы она поняла! Но едва ли это так будет... Вы заметили, мой друг, что в каждой песне нашей дорогой певицы не хватает чего-то? — и он посмотрел на меня, опустив руки между колен.

— Да, — ответил я невольно, но на самом деле я даже не представлял лица донны Франчески, — я что-то слушал, к чему-то присматривался, — и рыдания и слезы, которыми прорывалось мое оцепенение, возмутили моего несчастного друга на новый ужасный кашель. Увлекаемый из комнаты, я, оборачиваясь, видел за плечом кровавую мокроту на его подбородке...

Больше я его не видел. Он меня не пустил к себе. Кашель совершенно не давал ему говорить. А в темноте, у дверей, во мне вдруг проснулся страх за свою жизнь. И я не особенно настаивал на свидании.

Мы с Лукой вернулись домой столь же благополучно. Цыпленка я не мог есть, но с жадностью выпил вино. Спал я вполне хорошо.

А утром мне стало известно, что Виженто умер перед рассветом.

Я, конечно, не пошел проститься с ним. Я передал Беппо через посланца, чтобы сторож задержал моего друга и, по возможности, даже скрыл саму смерть. Дело в том, что я вспомнил одну просьбу Виженто, которую я поклялся исполнить.

Это произошло в апреле месяце, еще до появления черной болезни, во время одной из наших прогулок по морю. Мы высадились на берег и, отъединившись от общества, рассуждали обо всем. Берег в одном месте был очень узок, его венчала черная скала. Виженто сказал, оглянувшись:

— Дорогой друг, дайте мне слово исполнить мое последнее желание!

— Охотно, — ответил я, чувствуя сердцебиение, — очень охотно даю вам слово, если это не повредит вам...

Он нагнулся и сорвал голубой цветок.

— Вот здесь, — начал он негромко, — вот здесь вы сожжете мой прах, когда я умру. — И, помолчавши, он прибавил: — Помните, вы дали слово!..

И я опустил тогда голову.

Теперь я решил исполнить волю усопшего. Это стоило мне многих минут, но они закончились успешно. При закате я находился на борту бригаантины «Аспазия», принадлежавшей маркизу Андреа де Веччи, который еще в самом начале марта уехал в Рим, но управляющий его охотно исполнил мою просьбу, предоставив прелестный парусник до утра в мое распоряжение.

Вместе со мной на бригаантине находились донна Франческа Спорца и ее две девушки. Мы сидели с донной на корме, в покойных креслах, стоявших на ковре. Одна из девушек напевала, сидя на подушке у ног госпожи. Море было просторно и трогательно освещено закатом; облачности не было совершенно. Красные паруса нашей бригаантины были свернуты, мы стояли на якоре в виду черной скалы. Мы молчали, наблюдая море и закат. На низком мавританском столике между нами стояли сладости. Донна Франческа, одетая в платье зеленого бархата, с жемчужной шапочкой на светлых волосах, была спокой-

но и добродушно молчалива. Когда она поворачивала голову, длинные подвески от висков щекотали ее бледную шею; она щурилась и опправляла рукой серебрянное кружево воротника.

Она сказала:

— Однако, долго нет этой полубарки!.. Скоро на море будет сыро, и мы можем заполучить простуду.

Я ответил ей:

— Будьте терпеливой, мадонна. Не забывайте, что эта какая-то полубарка везет тело нашего общего друга!..

Ее продолговатые глаза оглянули меня.

— Я это знаю, — ответила она и взяла с золотой тарелки финик.

Мы молчали.

— Мой друг, — начал я, — очень сожалел, что не смог передать вам несколько слов...

— Каких? — спросила она, не отворачиваясь от моря.

— Он говорил, что в ваших канцонах не хватает не только диезов, он говорил, что в них нет чувства...

Она пожала плечами.

— Если бы он был музыкантом, я бы поверила ему. Но ведь он кто? Поэт! Или даже философ...

Я усмехнулся:

— Но разве поэты не ценители музыки?

У нее зачесалось около носа.

— Лучия, принесите мне плащ снизу, — приказала она девушке у своих ног.

Девушка поднялась.

— Поэты, — продолжала донна, — мне кажется, что поэты знатоки в латыни. Не так ли?

Я больше не возражал ей.

Солнце закатилось. Почти тотчас мы заметили приближение черной барки. Я отдал приказание, чтобы готовили лодку...

Уже после заката довелось заканчивать костер. Он вышел огромным. Я стоял поодаль и отдавал, возвышая голос, приказания Беппо, который с непокрытой головой помогал своими стариковскими неверными руками приехавшим людям. Донна стояла под прикрытием скалы. Нашу лодку, — которую держал матрос, а остальные два сидели, уже совсем темные, — качало стремительно. Поднимался ветер, взошли тучи.

Ко мне приблизилась девушка и позвала к донне. Я пошел туда.

— Отпустите меня в город! — приказал мне звучный голос из-под капюшона. — Это становится страшно, я не могу!..

Я обернулся. Начался поджог костра. Люди с факелами угнетали, как и эта черная ночь при морском ветре, как мысль об умершем...

— Но как это сделать? — ответил я. — Было бы достойнее, если бы мадонна осталась помолиться...

— Я буду молиться! — ответила она, и я заметил, как сверкнули ее глаза. — А здесь вам нужен священник... Право, отпустите меня! О! — и она прикрылась полой.

Я, не оборачиваясь, по движению всего окружающего узнал, что костер вспыхнул. Я обернулся: там гудело багровое текучее пламя, оно охватило весь наш странный ковчег, и золотистое озарение пало на всех, захватив даже бригадину, а у темных людей, тушивших черные факелы, — у них легли сзади тени...

Донну Франческу мне пришлось отпустить меньше, чем через час, ибо она рыдала, а я никогда не мог перенести женских слез. Зубы ее стучали, она потеряла, неизвестно как, одну из подвесок. Я отдал ей в лодку еще свой меховой плащ, оставшись в одном бархатном.

Ветра не было. Мне были слышны голоса с бригадины, а полу-барка, стоявшая ближе, справа, была нема. Я сидел на камне, прячась, кутаясь в плащ.

Костер продолжал гореть восемь часов. Рассвет застал меня бессонным, утомленным, но удивительно легким. Мои ночные думы казались мне только досадными. Но, воистину, все проходит, и когда-нибудь наши потомки даже не будут понимать чудесного языка. И вот, стоит ли рассказывать о своих горестях?

Пепла было очень много. Разбуженный, спавший прямо на песке, старик Беппо помогал могильщикам ссыпать золу в большую белую амфору с голубыми ручками и павлином.

Я пошел пешком в Неаполь.

Через три дня, ни с кем не простившись, я выехал во Флоренцию.

Разумеется, донна Франческа отказалась от пепла моего друга. В это время умер Беппо и мне стоило больших затруднений выписать амфору к себе.

И сознаюсь: около месяца я держал ее в саду. И только после я велел поставить ее в библиотеку. Но когда я переехал в Венецию, амфора осталась...

СЦИПИОН ВАРМА

(Переводная картинка)

Однажды бродячий комедиант Сципион Варма шел по мосту Четырех Монахов навстречу ночному ветру. Глядя на звезды, он размышлял о ремесле лиходейства. Но вздумалось позабавиться проходившим мимо гулякам, и, когда они поравнялись с ним, один из-под плаща ударил его кинжалом.

Запрокинувшись к высоким звездам, пораженный смертельно комедиант уцепился за мостовые перила.

Он застонал, сползая на настил моста, и его стошнило кровью... Темный ветер летел над ним и переливали, лучились высоко звезды Господа Бога. Но городские огни были ближе.

Жизнь умиравшего комедианта была несчастна — порочная, нищенская. Он родился в фургоне на ярмарке. Пятилетнему, оспа обезобразила ему темное личико. В эти годы он уже умел хулить церковное, говорил непристойности матери своей — черноволосой испитой красавице с бельмом на правом глазу. Через два года он потерял и эту семью, знакомый фургон, скучный голос осла Жана, — он стал жить в другой компании комедиантов, где его били чаще, ибо и он нес теперь службу, выступал перед народом. Любовь он узнал мрачную — насильную и болезненную. А в двадцать лет веселило его лишь вино придорожных трактиров, да и то после четвертого стаканчика он становился буйным сквернословом.

Случилось в июньский хороший полдень (в графстве Девоншир, в доброй старой Англии, где люди покладисты, хорошо едят и ни над чем не задумываются), — пришли в фургон люди из усадьбы за Сципионом Вармой. Он испугался, но пошел, — в полосатом своем костюме, с грязными волосами, с воспаленным взглядом. Его провели через длинный зеленый парк на прохладную веранду, где солнце тонко лучилось сквозь многие щели жалюзи. Девушка с золотыми волосами, — белая борзая у ног ее заворчала, задвигала хвостом, приподняла голову, — девушка нежная, точно на нее никогда не дули сквозняки, спросила, приподняв тонкие коричневые брови:

— Вы — Сципион Варма из Синего балагана?

— Я, миледи, — ответил комедиант, и барышня улыбнулась.

— Ну, я вас узнала по голосу!.. Я очень рада вас видеть, — продолжала она, поднимаясь с широкого кресла, с шелковой красной подушки; борзая встала рядом с нею; и обе — белая узкая собака и маленькая леди в желтом платье — были хорошо освещены на темной панели. Комедиант же стоял у дверей.

— Я позвала вас затем, — говорила девушка, подступая и держа собаку за ухо, — вы должны учить меня, чтобы я могла так же, как вы, говорить и петь все, что угодно. Вы понимаете?

— Да, понимаю, миледи, — ответил Варма, и так удачно передал голос своей собеседницы, что изумление неудержимо-весело усилило искры в зеленых глазах ее, и она всплеснула руками.

— Как? — выговорила она. — А ну, еще! Ну?..

И Варма, всплеснув руками, еще повторил ее нежный голос.

— Вы прямо чудо! — воскликнула она, садясь и удерживая собаку за оба уха. — Где вы учились?

— Нигде, миледи, — ответил комедиант уже своим голосом. — Господь Бог, вот кто мой учитель.

Она смотрела ему буквально в рот.

— А я смогу так же? — спросила она. — Вы сможете научить меня таким вещам?

Комедиант подумал, погладил свои пыльные волосы.

— Пожалуй, что смогу, миледи, — ответил он, — у вас от природы богатый голос, а учение мое — это мужицкая чепуха...

Ее лицо было серьезным, оно стало недовольным.

— Ну, неужели вы хотите сказать, что не будете меня учить? Нет, не говорите этого, вы уже обещали, — что вы говорите?

— Я говорю, миледи, — ответил комедиант, улыбаясь ее нетерпению, — я говорю, что почти за честь научить вас чему-нибудь...

— Ну, вот! — воскликнула она и поднялась живо. — Мы сейчас пойдем в парк и будем там читать. Вы умеете читать по-гречески?

Но комедиант замедлил с ответом: борзая бросилась к нему, он отступил, — хотя еще ни разу не кусали его собаки, — и уже глядя мягкую шерсть, он поднял побледневшее лицо свое, улыбнулся:

— Нет, миледи, я неграмотен...

— Как?.. — воскликнула она, но появление на веранде нового лица прервало разговор. Вошел старый, тучный господин в красном сюртуке и в верховых сапогах с желтыми отворотами. Бритые жирные щеки его дрожали, он заговорил с одышкой и низко, переходя на шепот:

— Это что за чушь? Мабель, что это за человек?

— Это комедиант, дядя Том, — ответила девушка.

— Ага, это заметно по запаху. На псарне легче вздохнуть, — продолжал толстый будто рассеянно. — Что он делает у вас?

— Я позвала его.

— Зачем?

— Он будет меня учить декламации...

Толстяк оскалил желтые зубы, добрые голубые глаза его стали веселыми:

— Актер с ярмарки — учить декламации дочь лорда Гарзама?.. Позор, миледи! О, какой декламации научит вас этот свинопас? Позор, позор! — он бросил хлыст в кресло и начал расстегивать белые перепачканные перчатки. — Завтра утром мы выезжаем в Лондон. Да. Если у вас и там явится охота хорошо читать стихи, вас будет учить какой-нибудь маэстро из королевской труппы. Ну? А этого молодца нужно спровадить обратно на ярмарку... — и он погрузил два пальца в карман тугого белого жилета, и, протягивая комедианту монеты, сказал несурово:

— Можете идти домой, добрый человек.

Принявши деньги, комедиант молча поклонился. В дверях он посмотрел назад: лицо девушки было хмуро, она, как ребенок, закусила палец.

А продолжение этого знакомства было, кажется, только со стороны комедианта. Но странно назвать любовью память о его встрече с дочерью лорда

Гарзама: вечно пьяный, низкий человек, разве мог он любить? Однако, то обстоятельство, что со времени знакомства Сципиона Вармы с леди Мабель Гарзам в обиходе этого комедианта появилась новая роль, — до слез потешал он народ, представляя, как молодая красивая девушка Джесси гибнет от происков со стороны влюбленного в нее старого господина Пинка, — это говорит нам о наличии глубокого чувства. Вдобавок, сходство героини с леди Мабель было так поразительно, что однажды некий молодой человек, прекрасно одетый и с повелительными манерами, домогался увидеть несчастную Джесси за кулисами; и когда его провели за фургон, где, присевши на корточки, подобрал юбки, Варма сидел со стаканчиком в руке, — юноша схватил каретный фонарь и пристально осветил им раскрашенное лицо, и, убедившись в обмане, услышав в ответ обычный голос Вармы, он удалился, пристыженный, а комедианты рассмеялись, и самый старый, вовсе плешивый, бородатый и курносый, сказал:

— Однако, ты молодец, ей-Богу!.. Однако, пейте, не задерживайте, сударыня...

Теперь комедиант, игравший нежную Джесси, хрипел, лежал на сырых камнях моста, не слыша ночного ветра, не видя ночных огней набережных трактиров.

Проходил через мост со слугою, который нес фонарь, граф де Мом. Заслышав стоны, граф сказал слуге:

— Посмотрите, мой друг, что это за человек, и узнайте, чем мы можем облегчить его душу.

Слуга осветил комедианта фонарем и, нагнувшись, понюхал его дыхание.

— Это пьяный человек, ваше сиятельство, он бредит о какой-то Мабели, — сказал он, вернувшись.

Чернобородое, бледное лицо графа выразило укоризну.

— Ну, нам нечего делать здесь. Пойдемте...

И они отошли, покинули то, что при жизни называлось Сципионом Вармой.

ГЛАЗА МАРКИЗЫ

Это произошло в один сырой вечер, в темень спорого дождя, в июле, под Парижем, в деревеньке Фонтенебло, на улице против гостиницы «Пчелы и Коровы». Фонарь на балконе и раскачивался и вертелся так, что у нас закружилась бы голова. Люди и лошади ходили в радужном пару и жемчугах по сивой слякоти. Все дышало. В двери, когда они распахивались, видно было трепетанье в очаге и тени заседающих за столами. Должна была отъехать высокая карета, серая брюхом от грязи: добрые лошади уже разгорячились в натуе, кучер стрельнул бичом, но тут что-то белое, как ком бумаги, метнулось на лошадей — и разразилось конское храпенье, смятение кованых копыт и треск дышла.

Так глупый бессонный голубь задержал отход кареты, а некий Бартоломей Лимпус, минуя, вынул трубку изо рта, поднял руку и воскликнул:

— Граждане, здесь аристократка!..

Таким образом была раскрыта в своем бегстве за границу маркиза д'Анзас, которой до сего времени благополучно удавалось скрываться в карете, а горничной ее — Сильвии — разыгрывать путешествующую актрису.

Подобно тому, как магнит притягивает куски металла, — вокруг злополучной кареты густо столпились любопытные и недоброжелатели.

Лицо маркизы продолжало оставаться спокойным, когда ее не совсем вежливо освободили из кареты, — не опустив при этом подножки. Сильвия горько рыдала навзрыд, а маркиза с неподвижным лицом пошла, ведомая через грязь не совсем бережно. Лишь белая мантилья ее открыла пудренные волосы. Белая мантилья продолжала соскальзывать с покатых плеч еще ниже — и осталась втоптанной в слякоть; а утром некая Бланш, проходя с ведрами, высмотрела белую шаль эту, поставила ведра и вытянула из грязи мантилью, чей белый шелк плели смуглые насмешливые кружевницы за Пиренеями.

Маркизу повели во второй этаж — лестница заскрипела под дружными ногами. Маркизу доставили в комнату, которая была убрана чисто и резко освещена: белые матерчатые обои отражали сильный свет канделябра и бра, висевших на каждой стене; в комнате было безлюдно, лишь подняла из мехового одеяла плоскую свою головку собачка в кресле, залаяла тонко и заурчала, а портьера отпахнулась и вошел невысокий человек в черном — сильный свет определил тотчас желваки и складки на его хмуром лице; он стал опрашивать длинные кружева манжет, а вошедшие заговорили наперебой. «На фонарь ее!» — кричали наиболее строптивые. Но лицо маркизы оставалось спокойным, глаза ее щурились.

— Граждане, прошу вас оставить это помещение, — сказал, наконец, мужчина в черном.

Вскоре только следы на воощеном полу и запах сырости напоминали в комнате о толпе, еще слышно было, как скрипит лестница — спускаются вниз восставшие французы.

В комнате было тихо. Человек в черном учтиво поклонился.

— Добрый вечер, маркиза, — сказал он, кланяясь, — прошу вас присесть.

Маркиза, протянув руку, села на стул около дверей. Хозяин комнаты,

стиснув пальцы, прикрытые кружевом, прошел к окнам. Он начал говорить оттуда:

— Маркиза, известно ли вам, что люди, которые сопровождали вас, возможно, не живут больше?

Нежное, будто одутловатое лицо маркизы осталось спокойным, глаза ее щурились. Человек в черном продолжал:

— Эти простые люди виноваты лишь в том, что оказались вблизи вас, аристократки, способствуя вашему бегству из Франции. Ваша горничная...

Маркиза медленно кивнула, но глаза остались сощуренными. Сжимая пальцы до болезни в суставах, заметно очень волнуясь, человек выступил из кресел; собачка подняла голову в кресле.

— Маркиза, угодно вам узнать меня? — спросил он. — Я — де Рэ... Правда, это довольно странно, я служил его величеству королю, а теперь нахожусь на службе у восставшего народа. Но причины этого вам неинтересны...

Он шагнул еще ближе, задыхаясь от волнения, которое забавно искажало его угрюмое лицо. Но маркиза опять была спокойна.

— Не так давно я объяснил вам свое чувство. Но вы переступили мое сердце, как невысокий порог вашего будуара... — он замолчал и слышно было, как он набирает воздух для новых слов.

— Маркиза! Угодно вам принять низкое выражение глубокой преданности вам?..

И, склонив голову, он закончил:

— Вы свободны, маркиза.

Лицо ее дрогнуло, рот полуоткрылся, глаза ее больше не щурились: темные, они смотрели в широком изумлении — и ими любовался гражданин Рэ.

— Благодарю вас, господин поручик, — проговорила женщина очень тихо, и кружевной платок, как глухая белая полумаска, скрыл ее бледное лицо.

Мне осталось досказать немного. Маркизе угодно было принять выражение преданности от верного поклонника. Она благополучно добралась до Испании, где нашла своего супруга и с облегчением сняла платье черного бархата, запачканное грязью в деревушке под Парижем.

А судьба бывшего поручика королевской гвардии господина де Рэ была иной. Он вскоре был казнен, ибо раскрылось, что он является агентом сторонников престола и не совсем ловко ведет эту двойную игру.

ЕВА И АДАМ

В латинской книге (первые листы ее потеряны не нами) некий монах Амиль рассказывает, между прочим, о Еве де Монтань и об Адаме, которого он называет Без Родины.

Мы решили переложить этот рассказ; в некоторых местах мы приписали то, чего нет в книге Амиля, но что видело наше сердце. Да простится нам наша смелость.

История эта начинается описанием детства будущих любовников. В ранние годы они не встречались, не знали друг друга. Ева родилась на берегу океана, ее отец, обедневший от славных походов, был неудачлив в женитьбе: жена его, мать Евы, убита была во время осады замка норманнами.

Однажды, рассказывает Амиль, в замок заезжает блестящий отряд путешественников. Куда следуют эти бодрые и веселые люди, в рассказе не упоминается. Но в словах простых и дважды трогательных излагает Амиль, как запала в сердце Евы зависть, и как, убедив себя, что ей суждена бедность на всю жизнь, она решается на самоубийство; ей было в то время двенадцать лет.

Она уходит к морю. Присутствие водной пустынной равнины, естественно, способствует ее детскому отчаянию. Наверное, смотрела она на горизонт и на небеса и рыдала; голос ее слышен одним морским птицам, а крики их безотрадны. Ева входит в заброшенную салотопню и вешается там на своем поясе.

Амиль рассказывает, что девочка провела на берегу всю ночь. Непонятно тогда, почему она осталась жива? Пастух ранним утром открывает ее присутствие. Еву переносят в замок, в единственную башню его; некоторое время она проводит в постели.

Описанный поступок свидетельствует о характере впечатлительном и гордом. Портрет, изложенный Амилем, подтверждает это: у нее темные и густые брови при светлых волосах; ноздри ее часто вздрагивают, а глаза одушевлены блеском; она бледнеет, волнуясь; у нее повелительный голос, но в гневе она часто плачет.

Семнадцати лет Ева выходит замуж за Рауля де Монтань, который старше ее на пятнадцать лет, — не зависть ли к чьим-либо нарядам явилась причиной этого брака?

Адам — пришелец, его родина неизвестна. Он хорошо поет, слагает стихи о подвигах ради страданий Господа нашего Иисуса.

Амиль рассказывает, что впервые выделяется Адам на охоте с соколами. Но более сильное впечатление вызвало вечернее пение его, — и вот мы видим темные глаза Евы, бледное лицо ее, пылко освещенное высокими факелами, лицо, непрестанно обращенное к певцу, высокое, в чувствительной испарине женское лицо.

Амиль упоминает о летучей мыши: во время пения она заматалась вверху, между стропил. Мы видим, как, проследив мышью глазами, ставшими глазами подростка, подпирая острый подбородок ладонью, Ева обращала томные глаза на певца, совсем не красивого, с под-

резанными на лбу волосами.

Утром, рассказывает Амиль, Адам Без Родины был приглашен в покои дамы. Могло это произойти так: девушка оставила рыцаря в комнате одного; вот он оглядел стены, где на коврах (они все же шевелятся от сквозняков старого здания) вышиты неподвижные охоты и где стоят на подставках золоченые кувшины и кованые ларцы, а на жердочке, на серебряной цепочке сидит розоволикая обезьянка в безрукавке из желтого бархата. Рыцарь протянул ей осторожно палец перчатки, а она, ловко сдернув с его головы берет с перьями, нутужилась, стала выдергивать перья и, соскользнув, закачалась на хвосте.

Но красный ковер отогнулся, и вошла, медленно волоча тяжелое платье, Ева де Монтань.

Рыцарь приободрился. Красноватое лицо его, серые глаза выражали почтительность, а дама, склонившись, подняла лицо; глаза ее сузились, она проговорила вкрадчиво:

— Ваше пение трогало наше сердце рукою серафима.

Она протянула душистую белую руку, и Адам Без Родины поцеловал ее. Жестом отослав девушек, дама опустилась на голубую подушку широкого табурета. Поправив четки, она сказала:

— Пение, музыка струн, даже пение птиц, все это волнует мою бедную душу с детства, — она склонила лицо. — Можно ли нам узнать имя вашей дамы? — спросила Ева, не поднимая глаз. — Любопытство наше исходит из желания доставить вам приятное...

Адам отвечает своим звучным голосом:

— Это невозможно.

— Почему? — дама склонила к плечу темноглазое лицо свое. — Может быть, ее нет?

— Ее нет, — повторяет Адам Без Родины.

Улыбнувшись, Ева протягивает руку и говорит:

— Садитесь к нам ближе...

Их беседа затянулась надолго. В покой было принесено вино для рыцаря и сладости для дамы. Бледная, взволнованная, с блистающими влажно глазами, без устали в словах, рассказывала Ева о своем детстве, как хотела повеситься она из зависти, как томили ее идущие за море облака — ей хотелось уплыть вместе с ними в неизвестную страну, — и о том, что теперь у нее столько платьев и служанок, и что кроме обезьяны есть еще говорящая птица, а тоска ее не уменьшилась, не перестает смущаться бедная душа ее.

Продолжая повествование, мы должны упомянуть, что Рауль де Монтань, следуя доносу капеллана, застаёт Адама Без Родины в спальне своей супруги в полночное время. Амиль описывает это кратко, но воображение наше рисует ночную сцену, озаренную факелом в руке толстого капеллана, полуодетую Еву, которая не плачет и не смущена своей наготой; она стоит между соперниками, волосы ее распущены, обнажен кинжал ее мужа, а Рыцарь Без Родины неподвижен в

тени подле алькова; поднятый факел мечет искры...

Далее Амиль сообщает о бегстве любовников; удача способствует им, следы их потеряны.

Неизвестна последующая судьба двух искренних и храбрых любовников, говорит Амиль, — но сердце наше давно решило, что среди благородных, ласковых песен о любви, которые поются ныне и будут звучать во веки веков, есть песни, сложенные Адамом Без Родины; и сама любовь подсказала ему скрыть свое имя.

И вот, подойдя к концу своего рассказа, Амиль, монах и писатель во славу святых отцов церкви нашей, — Амиль разрешается кощунственным тропом: он приравнивает историю героев своих к истории их библейских прародителей, Раулю де Монтань отводит он роль наказующего Неба и восклицает:

— Благословенна и чудодейственна ты, земная наша жизнь, юдоль первородства нашего, аминь.

КОММЕНТАРИИ

Все включенные в данный том произведения Б. Беты публикуются по первоизданиям либо рукописям; орфография и пунктуация приближены к современным нормам. Как правило, частые в газетной и журнальной периодике 1920-х гг. опечатки исправлялись безоговорочно.

Два выстрела

Впервые: *Голос Родины* (Владивосток). 1921. № 429 (11 марта), № 432 (17 марта). Иллюстрации (очевидно, Г. Комарова) взяты из первоиздания.

С. 9. ...*tertius'a gaudens'a* — *tertius gaudens* (букв. «третий радующийся», *лат.*) — человек, выигрывающий от конфликта двух сторон.

С. 9. ...*Мишеля Монтеня* — М. де Монтень (1533-1592) — французский философ-моралист, писатель и политик.

С. 14. ...*на контрзекс* — отличный (*жарг.*).

С. 14. ...«*Ки-ка-пу*» — модный танец конца 1900-х — нач. 1910-х гг., увлечение которым в России приняло характер повальной эпидемии.

Муза Странствий

Впервые: *Голос Родины* (Владивосток). 1921. № 462 (17 апреля), № 469 (24 апреля) и № 475 (1 мая). Восстановлена последовательность и единообразие в нумерации главок.

С. 19. ...*довлеет дневи злоба его* — Мф. 6:34 (*церковнослав.*), в синодальном пер.: «Довольно для каждого дня своей заботы».

С. 19. ...*Кармелинский* — Навеяно, вероятно, фамилией певца А. З. Кармелинского (Лунева, 1894-1938), позднее с успехом выступавшего в Харбине с исполнением песенок А. Н. Вертинского. Вернувшись в СССР, Кармелинский работал в Горьковском театре оперы и балета, был арестован в декабре 1937 и расстрелян в конце января 1938 г.

С. 19. ...«*всадники-друзи в поход собирайтесь*» — первая строка кавалерийского марша, известного в различных вариантах.

С. 20. ...*Максимова, Веры Холодной* — В. В. Максимов (Самусь, 1880-1937) — театральный актер, педагог, чтец, один из популярнейших актеров дореволюционного русского кинематографа. В. В. Холодная (Левченко, 1893-1919) — звезда российского немого кино; снялась в более чем 40 фильмах и рано умерла в Одессе от гриппа-«испанки».

С. 21. ...«*Я не верю, что в эту страну забредет Рождество*» — цит. из написанной на собственные слова песенки А. Н. Вертинского (1889-1957) «Дым без огня» (1916).

С. 21. ...*Изой Кремер* — Иза Кремер — сценическое имя певицы, артистки оперетты, киноактрисы И. Я. Кремер (1887-1956), с 1919 г. жившей в эмиграции.

С. 21. *Ведь он же картавый!* — намек на характерное грассирование А. Н. Вертинского.

С. 22. ...*Иродиада* — библейская принцесса иродианской династии; согласно евангельским рассказам, подговорила свою дочь Саломею потребовать в награду за танец казнь Иоанна Крестителя.

С. 22. ...«*Женщине, которая изобрела любовь*» — двухсерийная кинолента В. Висковского (1918) с В. В. Максимовым и В. В. Холодной в главных ролях.

С. 30. ...*романсом Тамары* — «Романсом Тамары» часто именуется популярная ария Тамары из оперы А. Г. Рубинштейна (1829-1894) «Демон» (либретто П. А. Висковатова, 1842-1905), впервые поставленной в 1875 г.

С. 30. ...*Бим-Бом* — дуэт клоуна и музыкального эксцентрика И. С. Радунского (1872-1955) с различными партнерами, просуществовавший с перерывами с 1891 по 1946 г.; в описываемое время партнером Радунского, т. е. «Бомом», был М. А. Станевский (1879-1927).

С. 30. ...*Харьковский юбилейный сборник имени Потебни* — Речь идет, видимо, о т. 14 «Сборника Харьковского историко-филологического общества», (Харьков, 1905), связанном с 25-летним юбилеем общества (1902); в 1892 г. обществом была также издана кн. «Памяти А. А. Потебни».

С. 30. ...*назьма* — Назём, назьмо — навоз.

С. 30. ...*фейерверкер* — унтер-офицер в артиллерийских частях российской императорской армии.

С. 30. «*То ли дело ... стоять*» — цит. из знаменитой солдатской песни «Взвейтесь, соколы, орлами».

С. 31. «*Лизис*» — один из ранних диалогов древнегреческого философа Платона (428/427 – 348/347 д. н. э.).

С. 31. ...«*чижика в лодочке*» — Бикчурин цитирует известную по крайней ме-

ре с середины XIX в. частушку: «Едет (ехал) чижик в лодочке, / В генеральском (адмиральском) чине! / Не выпить ли нам водочки / По такой причине?»

С. 34. ...«*Мартьяныча*» — Наряду с упомянутым в тексте «Яром» на Петербургском шоссе — один из самых известных ресторанов Москвы нач. XX в.; «Мартьяныч», названный так по имени хозяина П. Мартьянова, находился в подвальном помещении Верхних торговых рядов (нынешний ГУМ).

С. 34. ...*в Египет ... искать Прекрасную Даму, Софию?* — иронический намек на встречи философа, поэта и публициста В. С. Соловьева (1853-1900) с Небесной Софией, воплощенной в образе прекрасной женщины, и соответствующий культ Прекрасной Дамы в кругу А. А. Блока (1880-1921). Третье из числа мистических «свиданий» с Софией, описанных в поэме Соловьева «Три свидания: Москва — Лондон — Каир (1862-75-76)» (1898), произошло в египетской пустыне. Уместно сравнить египетское видение Соловьева с видением поручика Шкляра в рассказе «Чудесное явление» (см. с. 54). См. также с. 69.

Родной дым

Публикуется по вырезке из неустановленного изд. — вероятно, одного из воскресных приложений к газ. «Русский край» (Владивосток) за май или июнь 1922 г. (Государственный архив Хабаровского края). Текст частично обрезанной первой колонки местами восстановлен по смыслу.

С. 39. ...*Бирском... Мензелинск* — Бирск, Мензелинск — в описываемое время уездные города Уфимской губ.; боевые операции под Бирском упоминаются также в рассказе «Чудесное явление».

С. 40. ...*И когда женщина с прекрасным лицом...* — цит. из стих. «Моим читателям» (1921) Н. С. Гумилева, поэта, перед которым преклонялись многие литераторы Дальнего Востока и «русского» Китая 1920-х гг. Большим поклонником Гумилева был и Б. Бета, часто цитировавший или упоминавший поэта в своих рассказах. См. в письме Беты В. М. Штемпель, датированном «Dairen-Rakatan 3 июня <1924 г.>»: «Я забыл у Алымова прекрасную книгу “Стихи к Синей Звезде” Гумилева — если бы писать хоть немного так же!» (архив А. В. Ревоненко в Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова, далее — ХКМ).

Обстоятельство сердца

Впервые: *Голос Родины* (Владивосток). 1921. № 449 (3 апреля). Иллюстрации Г. Комарова, гравированные на дереве П. Любарским, взяты из указанного изд.

С. 46. *Мамзель Пакэн* — Подразумевается блиставшая в 1910-х гг. французская художница-модельер Ж. Пакен (1869-1936), первая знаменитая женщина-кутюрье и основательница собственного модного дома; была удостоена ордена Почетного легиона.

С. 48. *...гладко причесанную голову* — В оригинальной публ. после слова «гладко» по вине наборщика вторгся посторонний текст; восстановлено по смыслу.

Чудесное явление

Впервые: *Новая вечерняя газета* (Владивосток). 1923. № 83 (16 февраля) и *Гонг* (Харбин), 1923. №1 (февраль). Печатается по публикации *Новой вечерней газеты*. Произведена сверка с публикацией в *Гонге*.

С. 52. *...под Самарой в армии Комуча, комитета членов учредительного собрания* — КОМУЧ — первое антибольшевистское всероссийское правительство, организованное в начале июня 1918 г. в Самаре и располагавшее собственной «Народной армией»; КОМУЧ фактически прекратил свое существование с образованием в конце сентября 1918 г. в Уфе Временного Всероссийского правительства.

С. 52. *...армейской шменкой* — Видимо, игрой в шмен-де-фер (шемми).

С. 52. *...вексельными филипповками* — Речь идет о краткосрочных денежных обязательствах, выпущенных КОМУЧем в сентябре 1918 г. на царской вексельной бумаге с факсимильной подписью председателя Совета Управляющих Ведомствами (исполнительного органа КОМУЧа) В. Н. Филипповского. Основная масса их была введена в обращение в Уфе (см. Едидович Л. Деньги Комуча. Самара, 2003. С. 19-23), что и объясняет наличие «вексельных филипповок» у героя рассказа.

С. 53. *...полуторатонный уайт* — грузовик производства известной американской фирмы «The White Motor Company».

С. 53. *...«Ах, шарабан мой...»* — Песня времен Гражданской войны на основе цыганской песенки; приобрела большую популярность в Самаре, в т. ч. в Народной армии КОМУЧа, а впоследствии в колчаковских войсках.

С. 54. *...Маттиэ Батистини* — так у автора. Маттиа Баттистини (1856-1928) — итальянский оперный певец-баритон, в 1892-1916 гг. постоянно гастролировавший в России; здесь его имя употребляется как замена матерного ругательства.

С. 54. *...устроил какой-нибудь «шулюм»* — Т. е. выезд на охоту с приготовлением охотничьего (иногда называемого кавказским или казачьим) супа шулюм и сопутствующими возлияниями.

Встреча с Блоком

Впервые: *Вечерняя газета* (Владивосток). 1922. № 254, 22 марта.

С. 57. «*Стихи о Прекрасной Даме*» — сб. стихотворений А. А. Блока (1905).

С. 57. ...*тенора Алчевского* — Речь идет об известном в 1900-1910-х гг. оперном певце И. А. Алчевском (1876-1917), много выступавшем как в России, так и за рубежом и внешне никак не похожем на А. А. Блока.

Письмо, которое я не отправил

Впервые: *Восток* (Владивосток). 1921. № 1, январь.

С. 60. ...«*В старину жилали деды*» — цит. из либретто М. Н. Загоскина (1789-1852) к опере А. Н. Верстовского (1799-1862) «*Аскольдова могила*» (1835).

С. 60. ...*Патер ...«Винкельмане»* — У. Патер (1839-1894) — влиятельный британский искусствовед, эссеист; указанное здесь эссе о немецком искусствоведе И. Винкельмане (1717-1768) было впервые опубликовано в 1867 г. и вошло в кн. Патера *Studies in the History of the Renaissance* («Очерки по истории Ренессанса», 1873).

С. 60. ...«*Русской мысли*» — «Русская мысль» — ежемесячный литературно-политический журнал; издавался в России с 1880 по 1918 г., после закрытия журнала большевиками — за границей (с перерывами) до 1927 г.

С. 60. ...*Анне Мар, этой польке ... жила она в «Мадрид и Лувр»*, — на Тверской... — Анна Мар (А. Я. Леншина, урожд. Бровар, 1887-1917) — русская писательница, журналистка, киносценаристка, автор скандального садомахистского романа «Женщина на кресте» (1916). Действие этого и других ее произведений разворачивается в Польше. «Мадридом и Лувром» или, чаще, «Лувром и Мадридом» называли соединенные между собой гостиницы «Мадрид» и «Лувр» на Тверской, где А. Мар отравилась в марте 1917 г.

С. 60. ...«*de mortuis aut bene*» — часть лат. изречения «*de mortuis aut bene, aut nihil*» («О мертвых <следует говорить> либо хорошо, либо ничего»). У автора ошибочно: «*de mortibus...*»

С. 60. ...*де Виньи* — Адресат назван фамилией крупнейшего французского поэта-романтика, писателя и драматурга А. де Виньи (1797-1863).

С. 60. ...*double maitresse* — двойная любовница (*фр.*).

С. 60. ... «в Москву, в Москву» — фраза-рефрен из пьесы А. П. Чехова (1860-1904) «Три сестры» (1900-1901).

С. 60. ...Горация: «*Nil admirari*» — «Ничему не удивляйся» (лат.). Это изречение использовано в «Посланиях» (I, 6:1-2) Горация; древнеримский поэт говорит о данном принципе как о средстве для достижения счастья.

Счастье

Впервые: *Вечерняя газета* (Владивосток). 1922. № 234 (27 февраля) — № 238 (2 марта). Обнаружены четыре фрагмента из шести. Не выявлены публикации с началом и завершением повести — соответственно, первая и шестая.

С. 65. ...Юрия Слезкина — Ю. Л. Слезкин (1885-1947) — писатель, автор многочисл. романов и сб. рассказов; пик его популярности пришелся на 1910-е гг.

С. 66. ...Кипренский — имеется в виду живописец О. А. Кипренский (1782-1836), знаменитый портретист.

С. 68. ...оффензива — наступление, от фр. offensive.

С. 68. ...имевшая самоубийство генерала Крымова — Так в тексте. Ген. А. М. Крымов (1871-1917), соратник Л. Г. Корнилова, покончил с собой, будучи вызван в Петроград и фактически арестован А. Ф. Керенским.

С. 69. ...преданный Софии... Африки — намек на мистические «свидания» философа В. С. Соловьева с Небесной Софией (см. прим. к с. 34).

Весенняя карусель

Впервые: *Серебряный голубь* (Владивосток). 1922. № 2, март.

С. 74. ...Папенберга, Тобизена, Вятлина — соответственно, островок у о-ва Русский близ Владивостока и мысы Тобизена (Тобизина) и Вятлина на этом острове.

С. 75. ...avant la lettre — здесь: без подписи (фр.).

С. 75. ...«Черном Гаспаре» Бертрана — Имеется в виду посмертно изданная книга французского поэта и писателя А. Бертрана (1807-1841) «Gaspard de la Nuit» («Гаспар из тьмы: Фантазии в манере Рембрандта и Калло», 1842).

С. 75. ...«Любовь к трем апельсинам» — трагикомическая сказочная пьеса (1760) итальянского писателя и драматурга К. Гоцци (1720-1806).

Женщина за окном

Впервые: *Голос Родины* (Владивосток). 1922. № 809. 16 апреля; окончание в приемнице данного изд. — газ. *Наша речь* (Владивосток). 1922. 1 мая.

С. 77. ...памятника «Стережущему» — Этот монумент по проекту скульптора К. В. Изенберга и архит. А. И. фон Гогена, посвященный памяти погибшего в Русско-японскую войну миноносца «Стережущий», был открыт в 1911 г.

С. 77. ...а бон а кураж, под турахом — под куражем (*фр.*), подшофе.

С. 77. *Эпитафия Шелли на одном из римских кладбищ... воде* — Ошибка или шутка автора: один из величайших английских поэтов П. Б. Шелли (1792-1822) утонул в Средиземном море, но слова «Here lies One Whose Name was writ in Water» («Здесь лежит тот, чье имя было написано на воде») высечены на надгробном камне его современника и не менее великого поэта Д. Китса (1795-1821) на протестантском кладбище Рима.

С. 79. ...оршад — прохладительный напиток на миндальном молоке.

Сны

Впервые: *Владиво-Ниппо* (Владивосток). 1922. 2 июля.

С. 84. ...комфортабельного бродягу Крымова — Речь идет о предпринимателе, писателе и путешественнике, издателе журн. «Столица и усадьба» (1913-1917) В. П. Крымове; среди прочего, был известен своими путевыми очерками.

С. 85. ...о Стерне, о Новалисе — т. е. о знаменитом британском писателе и священнике Л. Стерне (1713-1768) и немецком писателе, философе и поэте-мистике Ф. фон Гарденберге (1772-1801), известном под псевд. Новалис.

С. 86. ...у По рассказ об усадьбе Арнгейм — Имеется в виду рассказ Э. По (1809-1849) «Поместье Арнгейм» («The Domain of Arnheim», 1847).

Потерявшийся на перекрестке

Впервые: *Новая вечерняя газета* (Владивосток). 1922. № 37 (22 декабря).

С. 89. ...с 19 версты в Сад-город, с Океанской на Седанку — Упомянуты различные пригородные местности и железнодорож. станции близ Владивостока.

Лель

Впервые: *Врата* (Шанхай). 1934. Кн. 1, позднее в *Русские новости-жизнь* (Сан-Франциско; Лос-Анджелес). 1938. 16 сент.

С. 93. ...13-го октября 1066 года в долине Гастингса — Т. е. накануне судьбоносной битвы при Гастингсе между англосаксонской армией короля Гарольда Годвинсона и войсками нормандского герцога Вильгельма, открывшей путь к нормандскому завоеванию Англии.

С. 93. ...«*Britannici legitis praefectus*» — неточная цит. из «Жизнеописания Карла Великого» франкского историка Эйнхарда, который бегло упоминает, что в Ронсевальской битве (778 г.) погиб префект Бретонской марки Хруодланд («*Hruodlandus britannici limitis praefectus*»), ставший прототипом Роланда.

С. 94. ...*Талейран* — Ш. М. де Талейран-Перигор (1754-1838), французский политик, искусный дипломат, министр иностранных дел при Наполеоне.

С. 96. ...«*Колодерма*» ... *загорелые руки* — также «Калодерма», желе и мыло «для смягчения и белизны кожи», широко рекламировавшееся в дореволюционной периодике; ныне под этим названием известен медовый гель.

Туман с моря

Впервые: *Восток* (Владивосток). 1921. № 1, январь, за подписью «Б. Б-ч».

С. 99. *Теперь бы пойти на Арбат...* — Эпиграф к рассказу представляет собой несколько искаж. цит. из стих. Н. В. Крандиевской (1888-1963) «Вторая неделя поста...», вошедшего в авторский сб. «Стихотворения: Кн. 2-ая» (1919).

С. 99. ...«*есть прелесть в этой поздней...*» — цит. из стихотворения И. А. Бунина «Венеция» («Восемь лет в Венеции я не был...», 1913).

С. 99. ...на «юли» на *Чуркин* — юли, юла — китайская лодка, управлявшаяся кормовым веслом; Чуркин — мыс во Владивостоке.

С. 100. ...Y.M.C.A. — Young Men's Christian Association («Христианская ассоциация молодых людей»), международная благотворительная христианская организация.

Октябрь

Впервые: *Новая вечерняя газета* (Владивосток). 1923. № 58 (16 января).

С. 104. ...*l'homme errant* — скиталец (фр.).

С. 105. ...«осень, облетел весь наш бледный сад» — Иск. цит. из стих. А. К. Толстого (1817-1875) «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...» (1858).

Записанное на газете

Впервые: *Серебряный голубь* (Владивосток). 1922. № 3, апрель.

Записи на манжетах

Впервые: *Вечерняя газета* (Владивосток). 1921. № 69, 21 августа.

С. 112. ... *Quocumque adspicias nihil est nisi pontus et aer* — «Взоры куда ни направь, повсюду лишь море и небо» (Овидий, «Скорбные элегии» I, 2:23, пер. С. Шервинского). Вероятно, Б. Бете был знаком рассказ И. А. Бунина «Тень птицы» (1907), в начале которого приведена эта цитата.

С. 112. ...*лаверак* — английский сеттер.

С. 113. ...*московской «Альционе»* — «Альциона» (1910-1923) — московское издательство, основанное А. М. Кожебаткиным; прославилось изящными изданиями авторов символистского круга.

Переход границы

Впервые: *Русский голос* (Харбин). 1923. 7 июля.

С. 115. ...*Кепстэновского табака* — кепстен (Capstan) — популярный в свое время сорт английского трубочного табака.

С. 115. ...*кросс-коунтри* — от англ. cross-country, кросс по пересеченной местности.

С. 117. ...*аллюр наш был больше одного креста* — В кавалерии «аллюром одного креста» при доставке депеш именовалась неторопливая езда шагом.

С. 117. ...*гураны* — потомки первых русских поселенцев в Забайкалье, смешавшиеся с коренным населением.

С. 118. ...*графическая обложка к гумилевскому «Костру»*... — Сборник Н. С.

Гумилева «Костер» и в первом изд. 1918 г., и в берлинском 1922 г. выходил в шрифтовой обложке, так что речь, видимо, идет о любительской обложке, выполненной нарратором.

С. 118. ...«Капитанов» — «Капитаны» — стихотворный цикл Н. С. Гумилева (1909).

Последняя встреча

Впервые: *Новое время* (Белград). 1925. № 1191, 19 апреля.

С. 123. *И снова ветер, знакомый и сладкий...* — цит. их стих. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (1919).

С. 124. ...«Дочери фараона» — «Дочь фараона» — балет Ц. Пуни (1802-1870), премьера кот. состоялась в 1862 г.

С. 125. ...*Роденбаха* — Ж. Роденбах (1855-1898) — видный франкоязычный бельгийский поэт и писатель-символист.

С. 125. ...*livres* — книги (фр.).

О любви к жизни

Впервые: *Новый дом* (Париж). 1926. № 2 (номер вышел в конце декабря 1926 г. и поступил в продажу 6 января 1927 г.), под настоящим именем «Б. Буткевич» (как и прочие французские публикации Б. Беты, за исключением рассказов из «Русской газеты»).

Рассказ был прислан Б. Бетой-Буткевичем в редакцию «Нового дома» в 1926 г. из Марселя и немедленно напечатан, вызвав значительный интерес к автору в кругах эмигрантских литераторов. Как свидетельствует Н. Берберова (см. прим. к с. 141), «рассказ “О любви к жизни” имел успех. И. А. Бунин спрашивал меня в письме: “Кто такой Буткевич? Талантливый человек, много, очень много хорошего!”. Критика отнеслась к неведомому автору благосклонно». В мемуарной книге «Поля Елисейские» писатель В. С. Яновский охарактеризовал этот рассказ как «вероятно, лучшее произведение зарубежья того периода» (подробней см. в т. II, с. 136-137).

Рассказ был также перепечатан в варшавской газ. *За Свободу!* (1927, 6 января) с кратким предисловием Д. В. Философова, где, в частности, говорилось: «Рассказ отличается правдивостью, талантливостью. “Экзотичность” его подлинно русская. По существу — рассказ скорбный. Может быть, следо-

вало его назвать “Сила жизни”, а не “Любовь к жизни”. Как человек, одаренный художественным чутьем, автор сумел обойти подводные камни дешевого “протеста” и жалостливости. Он преодолел свое внутреннее кипение — художественным созерцанием».

В более позднем письме к Берберовой Б. Бета писал: «Я упустил все сроки сделаться хорошим прозаиком. Вот уже два года, как я ушел из жизни, и никто из моих друзей ничего не знает обо мне. Какая-то нелегкая понудила меня написать о “любви к жизни”. Она не легкая, теперешняя моя жизнь, но становится еще тяжелей, когда я начинаю пытаться куда-то выскочить, начинаю изображать из себя беллетриста, когда удел мой быть докером, кочегаром, пастухом». (Берберова Н. Смерть Буткевича // Последние новости (Париж). 1931. № 3816. 3 сентября. С. 3).

Описанная здесь и в рассказе «Возвращение Люсьена» работа портового грузчика была хорошо знакома автору. О тяготах этой работы он неоднократно упоминал в письмах к Н. Берберовой: «Я ношу мешки в порту, и вечером трясутся руки, смертельно не хочется думать...»; «Дух относительно бодр, но тело зачастую сдает — два года работы в порту буду помнить всю жизнь...» (Берберова Н. Там же).

С. 127. ...*панаше* — от фр. *рапаше*: так называли смешанное из разных сортов мороженое, а также смешанные напитки (здесь, вероятней всего — смесь пива с лимонадом).

С. 131. *Dominus vobiscum ... Te Deum laudamus* — соответственно, «Да пребудет с вами Господь» (лат.), фраза из католической мессы; «Тебя, Бога, хвалим» (лат.; христианский гимн, исполняемый в конце мессы и в торжественных случаях).

С. 132. ...*Герцене* («гекзаметр прибоя») — Имеется в виду следующий фрагмент из повести А. И. Герцена (1812-1870) «Поврежденный» (1851): «Речи об этом крае необходим ритм, так, как он необходим морю, которое мерными стопами вовеки нескончаемых гексаметров плещет в пышный карниз Италии. Стихами легко рассказывается именно то, чего не уловишь прозой... едва очерченная и замеченная форма, чуть слышный звук, не совсем пробужденное чувство, еще не мысль... в прозе просто совестно повторять этот лепет сердца и шепот фантазии».

С. 132. ...*Гумилеве* («грустят валы ямбических морей») — цит. из стих. Н. С. Гумилева «Об Адонисе с лунной красотой...» (1915).

С. 132. ...*крест, похожий на мальтийский... Кексгольмском...* — Нагрудный знак лейб-гвардии Кексгольмского полка отдаленно напоминал мальтийский крест.

С. 133. ...«*Золотую пору*» Альмы Тадемы — Речь идет о картине британского художника сэра Л. Альмы-Тадемы (1836-1912) «The Golden Hour».

С. 133. ...«*Разговоры с дьяволом*» Успенского — Т. е. книга русского оккультиста и философа П. Д. Успенского (1878-1947) «Разговоры с дьяволом: Оккультные рассказы» (1916).

С. 133. ...*экип* — от фр. *équipe*, здесь: команда, бригада.

С. 134. ...*са ва?* — от фр. *ça va*: «Хорошо? Идет?»

С. 136. *Happy day* — счастливый, удачный день (англ.).

Классон и его душа

Впервые: *Новый корабль* (Париж). 1927. № 1 (номер вышел и поступил в продажу 1 сентября 1927 г.).

С. 141. ...*палубном карнизе* — так в тексте; возможно, должно было стоять «картузе».

План одного путешествия

Впервые: *Новый корабль*, (Париж). 1927. № 1 (номер вышел и поступил в продажу 1 сентября 1927 г.).

Рассказ автобиографичен: согласно письму к Н. Берберовой (см. ниже), Б. Бета «кочегаром плавал к африканским берегам и к малоазиатским» (Берберова Н. Смерть Буткевича // Последние новости (Париж). 1931. № 3816, 3 сентября. С. 3). Как свидетельствует М. Щербаков, «в последнем письме, полученном Вс. Ивановым из Марселя в 1926 или 27 году, не помню точно, Борис Бета писал нам, что работает кочегаром на пароходе, плавает по Средиземному морю» (Щербаков М. На смерть Б. В. Буткевича // Понедельник (Шанхай). 1931. №2. С. 158).

С. 144. *Нине Берберовой* — Н. Н. Берберова (1901-1993) — писательница, мемуаристка, в 1920-х – начале 1930-х гг. жена поэта, критика, историка литературы В.Ф. Ходасевича; с 1922 г. жила в эмиграции. О ее участии в литературной судьбе Б. Беты см. цитировавшийся выше некрологический очерк «Смерть Буткевича» и мемуарную книгу «Курсив мой» (1972).

С. 146. ...*какой-то «City»* — «город» (англ.) как часть названия корабля.

Возвращение Люсьена

Впервые: *Числа* (Париж), 1931. №5 (номер вышел 20 июня и поступил в продажу 2 июля 1931 г.).

По словам Н. Берберовой, рассказ был прислан ей Б. Бетой за несколько месяцев до смерти последнего: «Он <...> снова присылал мне рукопись — без надежды увидеть ее напечатанной, однако просил, по моему усмотрению, передать ее в одну из парижских редакций. Я послала рукопись в “Числа”; через месяц я узнала, что она принята» (Берберова Н. Смерть Буткевича. Там же).

С. 151. *La vida es sueño. Кальдерон* — Эпиграф («Жизнь есть мечта») представляет собой название впервые опубликованной в 1635 или нач. 1636 г. пьесы испанского драматурга, поэта и писателя П. Кальдерона де ла Барки (1600-1681).

С. 151. ...*трикира* — от греч. τρικίριον, трикирий или «трехсвечник», используемый для богослужения в православной церкви.

С. 151. ...*замку д’Иф* — Речь идет о прославленной в романе А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (1844) крепости на одноименном острове примерно в 4 км от Марселя, до второй половины XIX в. служившей тюрьмой.

С. 153. ...*eh, alors* — здесь: «Ну вот, годится?» (фр.).

С. 155. ...*будена* — от фр. boudin, кровяная колбаса.

С. 157. ...*рояль Гаво* — рояль основанной в 1847 г. в Париже фирмы Gaveau.

С. 161. ...*гаража Маттеи* — Имеется в виду служба такси марсельского предпринимателя Р. Маттеи.

Похищение Фернанды

Публикуется по рукописи: РГАЛИ, ф. 2475, оп. 1, ед. хр. 110.

С. 165. ...*Фредерик Мистраль* — провансальский поэт и лексикограф (1830-1914), лауреат Нобелевской премии по литературе (1904).

С. 165. ...*армии Авалова* — т. наз. «Западная добровольческая армия» П. Р. Бермонт-Авалова (1877-1974) действовала в Прибалтике в конце 1918 – октябре 1919 гг.

С. 165. ...*кабано* — от фр. cabanon, деревенский домик.

С. 165. ...*дисках Туринг-клуба* — т. е. дорожных указателей, установленных «Туринг-клубом», основанным в 1890 г. французским обществом энтузиастов велосипедной езды.

Судьба Жоржа Вольпе

Публикуется по рукописи: РГАЛИ, ф. 2475, оп. 1, ед. хр. 113.

С. 170. ...мас — от *фр.* mas, хутор, сельский дом.

Пепел

Впервые: *Русский край* (Владивосток). 1922. 22 мая; также *Врата* (Шанхай). Кн. 2. 1935.

С. 174. ...*Тертулиана* — Квинт Септимий Тертуллиан (155/165 – 220/240) — виднейший раннехристианский писатель, теолог и апологет.

С. 174. ...*Пьетро Бембо* ... «*Asolani*» — Пьетро Бембо (1470-1547) — итальянский кардинал, ученый, гуманист, автор неоплатонического трактата «*Gli Asolani*» (1505).

Сципион Варма

Впервые: *Русская газета* (Париж). 1925. № 316, 3 мая.

Глаза маркизы

Впервые: *Русская газета* (Париж). 1925. № 259, 8 марта.

Ева и Адам

Впервые: *Возрождение* (Париж). 1927. № 671 (4 апреля). Рассказ написан в 1924 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>От составителя</i>	6
Два выстрела	8
Муза Странствий (отрывок из романа)	18
Родной дым	37
Обстоятельство сердца	42
Чудесное явление	51
Встреча с Блоком	56
Письмо, которое я не отправил	59
Счастье	62
Весенняя карусель	73
Женщина за окном	76
Сны	83
Потерявшийся на перекрестке	88
Лель	92
Туман с моря	98
Октябрь	102
Записанное на газете	106
Записи на манжетах	109
Переход границы	114
Последняя встреча	122
О любви к жизни	126

Классон и его душа	140
План одного путешествия	144
Возвращение Люсьена	150
Похищение Фернанды	163
Судьба Жоржа Вольпе	168
Пепел	172
Сципион Варма (Переводная картинка)	178
Глаза маркизы	182
Ева и Адам	185
 К о м м е н т а р и и	 189

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т. п.